

Решение

За стеной у инженера Комова через регулярные промежутки тишины раздавались взрывы смеха. На гребне смеховой волны выделялся тоненький и залихватый женский хохоток. Парторг завода Лейкин мрачно шагал по комнате, поскрипывая начищенными хромовыми сапогами. Он хмуро возмущался.

— Наверное, опять анекдоты, — говорил он жене. — Опять, наверное, черт его знает, какие пакости говорят.

Жена Лейкина сидела за обеденным столом и, склонив на бок подстриженную под мальчика голову, скрипела вечным пером в толстой общей тетради. Перед ним лежал раскрытый томик Ленина.

— Коля? — спросила она усталым голосом. — Зачем вообще писать конспекты, если есть книги?

— Так надо, — буркнул парторг. — Конспект — это доказательство, что ты серьезно прорабатывала.

В это время за стеной брынькнула гитара и сочный баритон Комова завел: «Поцелуй меня, потом я тебя»... Инженер пел с цыганским надрывом.

— Типичное бытовое разложение, — констатировал Лейкин. — Эх, вызвать бы его на бюро и продрать с песком! — добавил он почти мечтательно.

С тех пор, как инженер Комов появился на заводе, у Лейкина просто руки чесались задать ему прочухана. Статный, пыщащий здоровьем Комов с первых же дней начал устраивать пирушки. Женщины были от него без ума. В заводоуправлении только и разговоров было: «Ах, Комов сказал!... А вы слышали, что Комов...»

Желтый, словно табачный лист, Лейкин возненавидел его. Как-то парторг не выдержал и сказал директору Вергунову:

— Пора поставить этого Комова на место. Он разбалтывает дисциплину. Я говорю это вам со всей партийной принципиальностью!..

Вергунов почесал волосатым пальцем гладко выбритый подбородок и примирительным тоном сказал:

— Пошаливает парень, что верно, то верно. Но работает хорошо. С заданиями справляется. План вытягивает. Стоит ли подымать шум?

— Если бы он не выполнял план, был бы другой разговор. Но его поведение, его пагубное влияние на коллектив... В общем, со всей партийной принципиальностью...

— Мда... — перебил протяжно директор и, посмотрев через голову парторга на закрытую дверь, тихо сказал: — У него в Москве большая рука есть. Не советую, как своему, так сказать, затрагивать...

С тех пор Лейкин возмущался поведением Комова только дома, а на людях старался не замечать инженерских проделок.

— Коля! — опять заныла жена парторга. — Глаза уже слепнут. Не могу больше конспектировать.

— Надо, Вера. Ты должна на семинаре показать другим женщинам пример.

— Но ведь ты же сам проводишь семинар, — начала повышать голос Вера. — Ты сам видишь, что я стараюсь. Зачем тебе конспект, как доказательство серьезной проработки?..

В это время в дверь громко забухали. Скрипя сапогами Лейкин подошел к двери и решительно открыл ее. На пороге стояла кудрявая белобрысая девчушка, лет девяти. Парторг часто видел ее играющей около их дома. Девчушка удивленно смотрела большими голубыми глазами на него и смачно хрустела конфетой.

— Тебе чего? — строго спросил Лейкин.

Девчушка громко проглотила, при этом, словно гусь, вытянув вперед голову, и одним духом выпалив:

— Вам от ней письмо и просила не ждать ответа! — передала парторгу конверт и, круто повернувшись, запрыгала вниз по лестнице.

Промыгав что-то насчет того, что и в воскресенье не дают покоя, парторг вскрыл конверт, прочел коротенькую записку, написанную с завитушками, красивым почерком и, ничего не поняв, оторопело, словно конь, замотал головой.

— Что там такое? — спросила, заинтересовавшись, Вера. По всему было видно, ей хотелось рассеяться. Хоть на минуту оставить нудный конспект.

Парторг принялся опять перечитывать записку, на этот раз в голос:

— Забудь меня, между нами все кончено. Не думай, пожалуйста, что я не смогу прожить и без тебя. Оставайся с ней и я желаю тебе счастья... Гм, — удивленно промыгчал парторг и уже другим голосом добавил: — Подпись — одна буква «тэ»...

— Очень интересно! — громко и нараспев проговорила Вера.

— Чертовщина какая-то.

Парторг тупо осмотрел конверт со всех сторон, зачем-то заглянул в него, повертел в руках записку.

— Сволочь! — шипя и со смаком проговорила Вера. — Мер-р-рзавец!.. Святоша чертов!.. Конспекты, семинары изучать должна! — начав с шипения, с каждым словом Лейкина повышала голос. — Ты жена передового человека!.. Новое общество!.. Высокая мораль!..

Пытаясь успокоить жену, Лейкин глухо и монотонно повторял: «Верочка... Верочка...» Но остановить Верочку было невозможно. Она выкрикивала проклятия, поносила его и, наконец, на самой высокой ноте взвизгнула:

— К маме в Рязань уеду!..

За стеной тот же баритон с цыганским надрывом запел: «Не плачь, дитя, утри слезу!..»

— Ну, я это так не оставлю! — дрожащим от гнева голосом проговорил Лейкин. — Я знаю, чьи это шуточки!..

— Нет, это я не оставлю! — истерически вскрикнула жена. — Святоша!.. Шарлатан!.. Думаешь, я не знаю, как ты цифры плана с директором подтасовываешь?!..

— Тише, — скривился, как от зубной боли, парторг. — Не сходи с ума...

— Тут мало сойти с ума с таким обормотом! Конспекты... Покажи пример... А сам путается с бабами... — Вера, внезапно перейдя на ровный голос, отдельно сказала: — Все.

Довольно. С подлецом жить не буду. Спасибо твоей этой самой. Без нее я бы не решилась. А хотела, ой! как хотела...

— Не говори глупости, — примирительным тоном сказал Лейкин и погрозил кулаком стене: — А этому молодцу я так не оставлю!.. Со всей партийной принципиальностью...

В двери сильно постучали и Лейкин не успел закончить. На пороге стояла та же белокурая с кудряшками.

— Вот она еще передала и не хочет никаких ответов, — затараторила девчушка и передала Лейкину небольшое серебряное кольцо с бирюзовым камнем.

— Стой! — схватил ее Лейкин за руку. — Кто тебя посылает?

— А я вот не скажу! — дерзко ответила девчушка. — Пустите руку, больно! Он думает, если он инженер, так может руки крутить.

И тут Лейкин мигом все сообразил.

— Слышишь? — торжественно проговорил он и сразу же спросил девчушку:

— Так значит я инженер?

— Сами знаете.

— Инженер Комов?

— А то кто, Пушкин?

Лейкин отпустил девчушку и ее словно ветром сдуло.

— Ну вот, все ясно, — проговорил он, снисходительно улыбаясь.

Вера громко высморкалась, вытерла платком заплаканные глаза и упрямо проговорила:

— А мне все равно. Уеду к маме и дело с концом. Разве это жизнь?..

— Веруся, ну брось, это же было недоразумение, — заворковал Лейкин.

— Правда, что недоразумение, — сухо проговорила Вера. — Куда я раньше смотрела? Ни рожи, ни кожи, одна только надутая морда. Передовой, — передразнила она. — Со всей партийной принципиальностью... Ты даже за бабами не умеешь поволочиться, как тот Комов. Вот это мужчина! А ты что? Баб я тебе может быть и простила бы. В общем, все кончено...

И глядя, как жена смотрит на него, гадливо морщась, Лейкин понял, что она твердо решилась. А за стеной баритон опять затянул: «Поцелуй меня...»

И Лейкину так стало завидно, что он не может быть таким, как Комов, что он твердо решил — продрать, сукиного сына, черт с ним, что рука в Москве! Решил и тут же подумал, что у него не хватит смелости продрать, что он просто трус, что парторгом он стал из-за своей неспособности занять другое место, где бы он мог так работать и веселиться, как этот Комов. И в первый раз он почувствовал себя ничтожеством.

Таких не надо

Актер Запальский всегда играл бандитов, вредителей, пьяниц, прогульщиков, а один раз ему пришлось сыграть Гитлера. Ничего, сыграл и Гитлера. А вот когда в прошлом году Запальскому хотели вручить роль положительного героя, какого-то чересчур придирчивого ко всем парторга-трезвенника, Запальский устроил шекспировский скандал. Он долго бушевал, кричал, что у него есть враги, грозился уйти из этого провинциального театра в столичный МХАТ, но на своем все же настоял. Отвоевал роль лодыря и спекулянта. Сногсшибательный успех имел! Публика ходила в театр только из-за Запальского.

Все шло отлично, пока совсем недавно актер Запальский не ударился в ересь. То ли ему надоело пожинать лавры, то ли ему наскучило быть любимцем публики, но он вдруг при распределении ролей в новой пьесе попросил дать ему роль Сталина.

Художественный руководитель театра Ник. Помпеев схватился за голову:

— Невозможно это, Сергей Сергеевич! — начал умолять он Запальского. — Ведь публика вас обожает. Только вы появитесь на сцене в гриме Сталина, вам устроят такой фурор, какого Сталин при жизни не имел. Теперь это даже неприлично.

— Запальский смилостивился и говорит:

— Хорошо, так и быть, сыграю Ленина!

Но тут выступил актер Мамалыгов, всегда игравший самые положительные роли, а поэтому оскорбленный, нелюбимый публикой, и говорит таким утробно-медовым голосом:

— Товарищи, это политическая ошибка! Как можно Сергею Сергеевичу Запальскому, исполнителю отрицательных персонажей, давать роль самого товарища Ленина? . . . А не истолкуют ли это, как. . .

И пошло, пошло! . . . Мамалыгов договорился до такой диалектики, что художественного руководителя Ник. Помпеева, в свое время реабилитированного, начали прошибать озноб и икота.

Но Запальский не растерялся, не впал в малодушие и панику, и когда Мамалыгов окончил, он встал и заговорил:

— Товарищи, дорогой мой друг Мамалыгов высказал много здравых и разумных мыслей, а вот слона-то и не заметил. Роль Отелло, например, можно играть и толстому и тонкому, и высокому, и низкому. Если у автора рожа на боку, если у него флюс и раздуло щеку, все это терпимо. Мавр Отелло может иметь какую угодно физию, потому что он жил в эпоху феодализма. Кому намажут морду сажеей, тот и может быть Отелло. А вот Ленин — это другое дело. В этом случае сажеей дела не исправишь, а только напортишь. Надо иметь фактуру. . .

И тут все вдруг заметили, что Запальский маленького роста, невзрачный, плюгавенький, что у него природная лысина, а по бокам рыжие волосы, и что он говорит нарочито картавя и держит голову этак криво, словно ему по шее съездили. А когда гример прикинул Запальскому усы и бороду, Ник. Помпеев заключил Запальского в объятия, чмокнул в щеку и не мог нарадоваться:

— Сереженька, сукин сын ты милый! — говорил Ник. Помпеев. — И до чего, подлец, на Ленина похож! Убить тебя мало, до чего натуральный Ленин! Просто хоть на стенку вешай! . . .

В общем, закрепили за Запальским роль Ленина, хотя и не обошлось без натурального в таких случаях подсиживания и хамства. Мамалыгов, поняв, что ему не светит сыграть роль вождя мирового пролетариата, долго и невразумительно что-то мычал о школе Станиславского, а потом ввернул, что Запальскому следовало бы заняться изучением трудов Ленина для того, чтобы войти как следует в роль. Когда Мамалыгов говорил, по лицу его блуждала ехидная улыбочка, словно ему удалось подсыпать в борщ ближнего какой-то нечисти.

Запальский удар этот принял, устоял и даже не пошатнулся. Он и сам решил именно с изучения творений Владимира Ильича постигнуть его гениальную душу и тем самым создать образ потрясающей правдивости и силы.

С этого-то все происшествие и началось.

Поначалу Запальский мучился, как грешник в аду. Возьмет том Ленина и еще не начнет читать, а на него уже зевота нападает, все у него чешется, животом даже хворал, какие-то нервные тики у него появились, головные боли. Потом ничего, привык. Человек такая скотина, что ко всему привыкнуть может. Йоги, говорят, на гвоздях привыкают спать. Спят, и когда им приснится мягкая перина, просьшаются в холодном поту, как от кошмара, как обыкновенные люди, которым вдруг приснится, что они спят на гвоздях.

В общем, Запальский постепенно втянулся. Мог, ни разу не зевнув, страниц пятьдесят за один присест из Ленина прочитать. Начал кое-что запоминать, пересказывать. Дальше — больше. Запальский отпустил себе усы и бородку и уж не только внешне, но и внутренне стал походить на великого Ильича. День и ночь читает, из Маркса выписки делает, целые трактаты с цифрами и диаграммами стал, бродяга, писать. Да все так серьезно, с такими безапелляционными поленински утверждениями, что парторг театра Кобылякин, как-то просмотрев труды Запальского, заскучал, впал в уныние и подал заявление о предоставлении ему возможности поехать на целину, притом как можно скорее и как можно дальше.

Политически чуткий товарищ Кобылякин укатил на целину, а на следующий день, в день премьеры, и произошло это дикое и странное происшествие.

Надо сказать, что все время репетиций и политического совершенствования Запальский, вычитав где-то, что Ленин не пил, не курил, имел только одну жену и только одну любовницу, с большим трудом заставил себя подражать такому спартанскому образу жизни. Но в день премьеры Запальский не выдержал. Может быть он сильно волновался, может быть традиции взяли верх, кто там сейчас разберет, почему, однако по пути в театр Запальский во всем своем ленинском виде зашел в пивную.

Насосник, тот, который качает пиво, долго смотрел, разинув рот, на Запальского, потом от растерянности высморкался в фартук и говорит:

— Гражданин, у вас такой недозволенный вид, что пива вам не могу отпустить!

— То есть, почему это недозволенный?! — законно возмутился Запальский. — Ваше дело накачивать прибавочную стоимость на пене и не рассуждать о видах.

— Вы, гражданин, — повысил голос насосник, — мне тут политграмоту не читайте, я сам партийный и завсегда честно борюсь за перевыполнение плана по пиву и вобле. Вы лучше смывайтесь, пока я вас в шею не вытолкал!

В общем, между ними завелась словесная перебранка. Народ, конечно, стал на шумок подходить. Одни вступаются за Запальского, мол, ничего в этом преступного нет, если человек похож на Ленина, и не убивать же за такое сходство человека еще в младенчестве. Другие говорят обратное, что, мол, никому не дано право выглядеть, как Ленин, и что это сущее хулиганство так выглядеть. Нашлись и такие, которые проявили нездоровое любопытство: дергали Запальского за бороду — не приклеена ли? А один сильно ослабевший гражданин уцепился Запальскому в петельки и спросил:

— Ты что, ангел, пива хочешь, а в мамзoley не хочешь? . .

Тут из задней комнаты появился милиционер, на ходу что-то дожевывая. Увидел он Запальского и сразу за свисток. Свиснул и говорит:

— Граждане, давайте не будем! . . Пойдемте у район! Подчинись, говорю!

Не успел Запальский какую-то цитату в свое оправдание промгчать, как милиционер ему руку скрутил, поддал для резвости коленком и поволок. На улице, конечно, народ не знал о пивном первоисточнике скандала. Видят — тащит представитель закона знакомое безжизненное тело. Начали делать разные догадки, мол, ага! и до него очередь дошла! Ну и в районном отделении милиции дежурный старший лейтенант первым долгом подергал Запальского за бороду, а потом изрек: дело это, мол, можно отнести к разряду политических и поэтому Запальскому следовало бы набить шею и отправить в комитет госбезопасности для дальнейшей обработки.

В этот момент в милицию ввалился сам товарищ Архимайский, первый секретарь горкома партии. Откуда успел пронюхать — уму не постижимо!

— Ага — говорит товарищ Архимайский, — узнаю вас, вы недавно спекулянта Ночкина играли. Вполне талантливо изобразили. Однако, на этот раз вам грозят большие неприятности.

— Помилуйте! — взмолился Запальский. — Ну что я такого преступного сделал? Что же в том ужасного, что я похож на Ленина?

— Удивляюсь вам, как это вы не понимаете, — пожал плечами Архимайский. — Может у вас хватит наглости не только мордой копировать великого Ленина? Если вам сегодня безнаказанно разрешить выгладеть, как Ленин, то завтра вы может попробуете писать, как Ленин?

— Зачем завтра, когда я уже давно пишу, как Ленин? — похвастался Запальский.

Товарищ Архимайский от удивления хрюкнул, а потом проговорил:

— Как можно даже думать об этом?! Ведь это хуже семи смертных грехов!

— Ошибаетесь. Никакого греха я в этом не вижу, а, наоборот, — невозмутимо так говорит Запальский. — Почему Ленин мог переделывать Маркса и это не было грехом? И почему Запальскому нельзя переделывать Ленина?

— Да, но то был Ленин!

— А это я, Запальский. Или может быть вы считаете, что после Ленина не может родиться на свет второй классик марксизма? Почему никому не запрещено поднять больше тяжести, чем поднял самый классический рекордсмен? Почему можно сделать улучшения в любой машине самого гениального конструктора? И почему никому нельзя переплюнуть или исправить Ленина?

От таких слов товарищу Архимайскому сделалось совсем не по себе.

— Берите его! — воскликнул он. — Тащите его прямоком в сумасшедший дом, потому что он говорит совершенно здравые вещи! Нам таких мазуриков не надо!

И потащили Запальского.

А на премьере Ленина играл Мамальгов. И так как роли он не знал, ни разу не репетировал, то может быть он даже

не из Ленина говорил, а повторял что-нибудь из заблуждений Троцкого. Может быть он так и цитировал ошибки Маха, хлестал из речей ренегата Каутского. Но поскольку Мамальгов изображал Ленина, то все считали, что все политически верно и что он говорит гениальные вещи. Товарищ Архимайский, сидевший в первом ряду, говорят, даже отбил себе ладони, аплодируя всей этой чуши и дичи.

Запальский же сидит в сумасшедшем доме поныне. Хорошо, хоть в сумасшедшем, могло быть и хуже.

Потерянная молодость

Сейчас Вася Плоткин волосы на себе рвет, кается, но потерянной молодости не вернешь. А начал Вася Плоткин растеривать, разбрасывать свою молодость потому, что его на войне ранили. Ранили, правда, не сильно. Головы ему не оторвало, живот не выпотрошило.

Такого с ним не могло случиться: он служил в глубоком тылу, в ординарцах у генерала.

Пороха ему не пришлось нюхать, но он честно выполнял свой солдатский долг. Драил генеральские сапоги, чистил зубным порошком золоченые пуговицы, привешивал новые ордена к генеральскому кителю и открывал бутылки с водкой.

Так его и ранило.

Кровь он пролил как-раз при взятии Берлина.

Праздновали за Волгой взятие немецкой столицы.

Хлопнул Вася по доньшку, бутылка военного производства лопнула, стекло впилося в ладонь. Попробовал Вася пошевелить пальцами: не тут-то было: — инвалид Отечественной войны!

Это ранение так полоснуло по душе Васи Плоткина, что после демобилизации он нацепил все честно заработанные ордена и медали, прикупил на толкучке еще один орден «Красной Звезды» и начал промышлять нищенством. Но с двумя скрюченными пальцами заработок был малый. Публика подавала вяло, как-то даже растерянно, многие вообще впадали в филантропию, делали вид, что не замечают про-

тянутой Васиной руки. Попадались и такие черствосердечные, что стыдили Васю, угощали водкой и уговаривали бросить валять дурака и поступить на работу грузчиком. Вася всегда был крепкого телосложения, почему его и оставили при генерале.

Вообще, вскоре Вася Плоткин плюнул на свои покалеченные пальцы и решил переквалифицироваться на безрукого.

На положении безрукого дело пошло веселее, но какая это была тяжелая работа! Рука, привязанная под гимнастеркой к туловищу, млеет. Свернуть закрутку — одно мученье. Зажечь спичку — и то приходилось ловчиться, ломать голову, как?

Подумал Вася, пораскинул мозгами, осмотрелся, и стал слепым. В материальном отношении дела пошли лучше. Обижаться не приходилось. Публика, она чуткая, она понимает, что слепой не может увидеть родимого лица, ему даже украсть тяжелее, чем зрячему. Подавали щедро. Но все же и работа слепого утомительная, вредная для здоровья. Особенно для глаз вредная. И страшно опасная. Ужасно, как опасная! Можно замечтаться, забыть и попереть через дорогу с закрытыми глазами — тут все может случиться. Инвалидом можно стать. А нищему-калеке без хорошего здоровья тяжеленько приходится.

Короче говоря, слепым Вася проработал всего с год, а потом перешел на припадочного.

Вот тут-то Вася Плоткин, наконец, открыл свой огромный талант. Большим и известным мастером стал!

Бывало, появится где-нибудь в парке, в пивной, на пляже, придет не выполнять свой долг, а с честным намерением отдохнуть, но публика не дает. Начинает толпиться, смотрят, ожидают, кругом разинутые рты. Некоторые нетерпеливые даже с вопросами подходили:

— Василий Иванович, если вы не собираетесь впасть в припадок, то так и скажите заранее. Мы тоже сдельно работаем. Каждая минута дорога.

И ничего не поделаешь, приходилось начинать припадок. Публику нельзя разочаровывать.

Закатит Вася глаза, пустит слюну, бульки разные, упадет и начнет движения всеми конечностями выделять. Но

это была только половина искусства. Вторая половина мастерства демонстрировалась после припадка, когда Вася Плоткин просил жертвовать. Здесь уже была и речь, и жест, и мимика.

— Граждане! Дорогие папаши-мамаши, любимые братцы и милосердные сестрицы! — выкрикивал Вася простуженным от частого лежания на сырой земле фальцетом. — Подайте на несчастное калецтво мое, кто сколько сможет! Не стесняйтесь, давайте, кто рубль, кто трешку, кто пятерку и больше — все будет на пользу болезни моей! . .

И граждане охали, вздыхали, но подавали. А если среди зрителей встречался какой-нибудь ловкач, пытавшийся посмотреть даром, то Вася подходил к нему, выпучивал глаза, начинал алчно облизывать губы, пускать первые пузыри, глухо мычать, — и любитель дармовщинки пугался. Приходилось и ему раскошелиться, иначе публика на него обижалась, ругала его. Случалось, и в милицию грозили отвести за невнимание к здоровью припадочного.

Так и прожил Вася Плоткин припадочным более десяти лет. Потолстел. Отпустил животик. Собирался купить «Победу». В последнее время каждым летом на пару месяцев ездил в Крым, в Сочи, после чего, для того чтобы войти в рабочий вид, ему приходилось снимать разными кремами здоровый южный загар. Жизнь шла нормально.

И, вдруг, во время регулярного производственного припадка, к Васе Плоткину подошел милиционер и начал его тревожить. Начал мешать нормально обслуживать публику припадочным зрелищем.

Вася, конечно, лежит на земле, бьется в судорогах, приоткрыл один глаз и шепчет милиционеру:

— Товарищ Филимонов, зачем безобразничать? Если хотите еще на поллитра, так в чем вопрос? . .

Но тут случилось совсем непредвиденное. Настолько дикое, что Вася Плоткин подумал — не произошла ли смена родной советской власти? Милиционер потащил его, и притом довольно грубо, напрямиком в милицию.

В милиции Вася Плоткин, конечно, дал волю своему возмущению.

— Что же это, — говорит, — за безобразие наблюдается? Почему, — говорит, — спокойно не даете заниматься созидательным трудом инвалиду Отечественной войны?

А дежурный по милиции, знакомый Плоткину капитан, даже, кажется, его кум, вдруг говорит:

— Василий Иванович, вы бросьте мне тут шарики крутить, ломать Ваньку!.. Сейчас кампания по вылавливанию нищих. Всесоюзная кампания!.. Газеты, Василий Иванович, надо было читать! Политикой надо было интересоваться!

Побледнел от такого политического своего невежества Вася Плоткин и просит:

— Братцы милиционеры, отпустите по старой дружбе!

— Нельзя! — вздыхает знакомый капитан, и даже, кажется, кум. — Сам понимаешь, невозможно! Если бы до начала всесоюзной кампании, или через неделю после окончания, — тогда нищенствуй, сколько хочешь! Проси хоть у министра юстиции. А теперь мы должны передать дело прокурору. Раз у нас кампания, так во время кампании строго. Потом все можно...

В общем, ничего не помогло Васе Плоткину. Его судили и, как антиобщественный элемент, направили в Сибирь в ссылку. И работал Вася Плоткин в ссылке на шахте, под землей. И так перепугался он, что в первый раз в жизни с неделю честно поработал — делал вид, что чего-то там носит или складывает.

Через неделю подходит к Васе некий ответственный работник и говорит:

— Молодой человек, я вижу, что вы способны к самоотверженности. Можете ли вы организовать на этом участке среди других гавриков социалистическое соревнование?

Вася Плоткин сразу же ухватился за это предложение, как голодный краб за тюльку.

Подошел он вначале к одному бывшему безрукому и говорит, мол, давай перевыполним план и вызови на социалистическое соревнование безногого Федьку-футболиста. Бывший безрукий разводит этак беспомощно руками и говорит:

— Не могу, не привык вкалывать!..

Ну тут, конечно, Вася Плоткин тряхнул старым искусством. Выпучил глаза, начал алчно облизывать губы, пускать первые пузыри, глухо мычать, и бывший безрукий сдался. Плюнул и говорит:

— На что хочешь, дегенерат ты, соглашаюсь, только уйди! . . Мутит меня от твоего вида! . .

Взял с него Вася соцобязательство и пошел к другому, потом к третьему, четвертому.

А через месяц Вася Плоткин превратился из антиобщественного элемента в большого и полезного общественного деятеля. Стал он крупным профсоюзным работником, организатором трудовых достижений и грандиозных социалистических соревнований. Но потерянной молодости все же не вернешь.

Бедный Макар

Макар Петрович Телятников был человеком на редкость скромным и тихим. Когда в конторе «Заготсолома» свивала змеиное гнездо очередная интрига, и бухгалтер Базилевский, слоняясь между столов, сколачивал оплот против Мещанского, или Мещанский, премило улыбнувшись Базилевскому, тут же в двух шагах от него мобилизовал сотрудников на решительный бой, Макар Петрович Телятников всегда оставался в стороне. Не принимал он участия в интригах и когда Базилевский с Мещанским, поклявшись Бог его знает в какой раз в нерушимой дружбе, общими силами тихо старались сжить со света Самцова. Или когда Самцов вдруг из смертельного врага превращался в закадычного приятеля Базилевского и Мещанского, и они втроем плели козни против самого товарища Пападеева, директора конторы «Заготсолома». И даже когда сам товарищ Пападеев, вначале руками Базилевского, Мещанского и Самцова, а потом лично, начинал громко и уверенно добивать кого-нибудь из сотрудников, а весь аппарат конторы поспешно и демонстративно гадил обреченному, Макар Петрович Телятников был единственным, при виде которого жертва могла в самоуспокоение себе сказать, что не все еще на свете подлецы.

И так уж в конторе привыкли к нейтралитету Телятникова, к его безкорыстной и незлобивой натуре, что когда он подходил к столу затравленного и озирающегося волком сотрудника и говорил с ним пару минут о погоде, никто никогда не отводил Макара Петровича в угол и не шептал ему зловеще: «Вы, голубчик, с ума спятили! Пойдите и объясни-

те товарищу Попадееву свой дикий поступок!.. Идите сами, а то во избежание доноса на вас, я пойду и доложу».

И вот однажды, Макар Петрович переиграл, переоценил терпение коллег.

В благоуханный майский день, когда в пропахшей табачным дымом и лежалыми бумагами конторе молоденькие и неопытные мухи охотно лакомились фиолетовой отравой из чернильниц, кому-то из сотрудников пришла в голову мысль устроить коллективную прогулку по реке.

Товарищ Попадаев лично утвердил идею, и когда дело дошло до конкретного обсуждения, как и что сделать, и уже нашлись дамы-любительницы спечь пирожки, приготовить винегрет, селедочку с зеленым луком, Макар Петрович Телятников неожиданно для всех предложил купить в складчину бочонок пива.

— Товарищ Попадеев против спиртного! — строго посмотрел на Телятникова Мещанский. — А я, как председатель месткома, тоже не могу допустить пьянки во время культурной вылазки! Стыдитесь, товарищ!..

— Кто говорит о пьянке? — удивился Телятников. — Я в жизни водки в рот не брал, а вот сейчас мне охота выпить кружку пива. Разве это недопустимо?

Мещанский, пытливо взглядевшись в лица сотрудников и не заметив возражений, кивнул головой. — Хорошо, попросим разрешения у товарища Попадеева купить бочонок пива, но если что произойдет!.. В общем, надо подумать о закусках. Вот если бы еще хороших соленых огурчиков... — и он мечтательно пошевелил пальцами.

* * *

О закусках заготовиломовцы позаботились. Через две недели, ранним солнечным утром, компания погрузила на пузатенький старый пароходик разные кулечки, корзины, ящички. Потом, сверх общественного, каждый принес собственную сумочку, тщательно прикрытую чем-нибудь сверху, так

что содержимого видно не было. И, наконец, кряхтя от натуги, председатель месткома, Мещанский, самолично вкатил по трапу на палубу бочонок пива средних размеров. Бочонок утвердили на носу парохода.

— Ну, вот, кажется, все! — заключил, отдуваясь, Мещанский. — Все в сборе, только, конечно, этого подлеца Попадеева нет. Он думает, если он директор, так ему можно и опаздывать.

— Плюнуть бы нам на этого дубину Попадеева! — предложил Самцов.

— Подлый человек, подлый... — вставил Базилевский.

Когда к пристани, наконец, подкатила машина с Попадеевым, Мещанский, Самцов и Базилевский опять обменялись фразами, полными сарказма, правда, на этот раз уже не так громко. Но когда сам товарищ Попадеев начал вынимать из машины обширную и тяжелую корзину, маленький и юркий Самцов не выдержал. Оттолкнув стоявшего на пути Базилевского он бросился на берег. Глядя, как Самцов, вытянув от натуги шею и склонившись влево, тащит корзину, высокий, с львиной гордой головой Мещанский, презрительно улыбнулся:

— Позор! Ему больше нельзя подавать руки. Холуй!

— Он всегда был подхалимом, — рассеянно проговорил Базилевский и двинулся навстречу жене директора, женщине пухлой и надменной.

Он любезно поцеловал ей ручку и сразу же подхватил складной стульчик, который она несла.

В то время, когда Базилевский помогал супруге директора, выждав удобный момент, Мещанский легкой походкой подошел к машине и перенял из рук Попадеева щенка неопределенной породы. Щенок лизнул Мещанского в лицо, а Мещанский ответил ему восторженным поцелуем:

— Прелестный песик! Это настоящая немецкая овчарка!..

— По-моему, дворняжка, — ответил директор, помогая выйти из машины мальчику лет семи с парализованными ногами.

— Быть того не может, — продолжал восторгаться Мещанский. — Это настоящая породистая собака. Вас обманули, дорогой Карп Карпыч...

Последним на борт парохода взошел зафрахтованный баянист с поцарапанным носом. Он по-деловому уселся рядом с бочкой и, звучно перебрав басы, вздохнул:

— Так вот что, товарищи, смазать инструмент надо, хрипит . . .

Собравшиеся вокруг музыканта заготовсоломовцы благоразумно прогуливались с носа на корму, и в общем движении никто не заметил или, вернее, постарался не заметить, кто и что дал для смазки инструмента.

Потом баянист, уронив голову на меха, заиграл вальс «Дунайские волны». На носу закружились первые пары, капитан дернул за шнурок свистка, пароход тронулся. Мещанский деловито стал вбивать деревянным молотком трубку помпы в пивную бочку: прогулка началась.

Дальше все шло как по неписанному расписанию, как всегда бывало при любых коллективных прогулках.

Первую кружку пенного пива поднесли Попадееву, и все усердно спели «пей до дна»!. Вторую кружку получила супруга директора, и опять хор служебных голосов огласил окрестности не особенно стройным, но очень трогательным «пей до дна»! Затем пиво стало выдаваться всем подряд: женщины пригубливали, деланно морщились; мужчины отходили с кружками в сторонку и, прикрывая один другого, с тихим русалочьим смехом доливали в общественное пиво собственную водку.

Макар Петрович Телятников тоже получил свою кружку, прошел на корму и одиноко уселся на скамеечке, задумчиво глядя на воду. Никто о нем не вспоминал, никто его не тревожил. О нем все забыли, словно и не было на свете такого тихого и скромного человека — Теляникова.

Тем временем, на носу судна, под звуки баяна, отдыхающие развлекались, разбившись на две основные группы.

В центре первой находился товарищ Попадеев. Порядком повеселевший, он рассказывал какой-то совершенно несмешной анекдот, которому не было видно конца. Все окружение терпеливо слушало, и когда рассказчик вдруг в самом неожиданном месте разражался смехом, окружение хохотало тоже, а Мещанский даже вытирал платочком глаза.

В другой группе мадам Попадеева рассказывала о своих болезнях. Говорила она со вкусом, часто вздыхала, закатывала глаза к небу: на лицах слушающих дам было написано предельное понимание и сострадание.

Отдельно от взрослых развлекались дети. Девочки и мальши смотрели, не отрываясь, на баяниста, выстроившись прямо перед ним. Несколько более взрослых мальчишек стояли у борта и усиленно плевали в воду.

Из всей детской компании только калека с усталым детским личиком, сидя на парусиновом раскладном стуле, удивленно раскрытыми большими черными глазами, смотрел на плывущие мимо бортов журчащие, отваливающиеся ломтями струи; на спокойную гладь реки с темными зелеными пятнами теней у берегов; на столпившиеся у берега деревья, с редкими ивами, склонившими ветки к самой воде; на далекие, уходящие ковры лугов, полей, окутанных утренней дымкой, с маленькими, как на картинке, недвижимыми коврами и поставленными игрушечными белыми кубиками домов, деревень, переплетенных между собой едва заметными нитями дорог. Для скованного кандалами болезни мальчика открывался новый и прекрасный мир.

Где-то около полудня нетрезвый хор усиленно громко затянул «Вниз по матушке по Волге». Первый из заготсоломовцев уже стоял, перегнувшись за борт, а два других кандидата с особой нежной пьяной заботливостью держали его под руки и предлагали испытанный способ с пальцами. Музыкант блаженно спал около пивной бочки в обнимку с верным баяном, и никто в нем более не нуждался. Базилевский усиленно ухаживал за женой директора и целовал ей по очереди все пальцы. Она деланно сердилась, или хохотала, запрокинув голову. Сам же Попадеев, покачиваясь с носков на каблуки, стоял спиной к хору и, насупив лоб, слушал Мещанского, говорившего, с умиленно поднятыми бровями.

Как раз в этот момент к ним и подошел скорбно улыбающийся Самцов:

— Карп Карпыч, золотце, не подумайте, что я вмешиваюсь в ваши дела, но вы знаете, какой наш Телятников сухой и невежественный человек...

— В чем дело? — с нетрезвой начальственной строгостью спросил Попадеев.

— Пойдемте, — таинственно и многообещающе пригласил Самцов и пошел вперед, показывая дорогу к корме.

На корме парохода сидел Макар Петрович Телятников рядом с мальчиком калекой.

Директор Попадеев, одним движением отослав назад свою свиту, остановился, внимательно прислушиваясь. Он стоял, незамеченный щуплым, с длинной худой шеей стариком бухгалтером и доверчиво положившим черную головку на костлявое старческое плечо мальчиком. И постепенно что-то невиданное раньше никому, мягкое и человеческое появилось на лице Попадеева взамен обыкновенной насупленной или надменно самодовольной мины, как у покорившего город татарского деспота. Виновато улыбаясь, Попадеев медленно тронулся с места, подошел к Телятникову и сел рядом с сыном. Телятников продолжал с увлечением рассказывать.

Мещанский и Самцов, оскорбленные, обиженные, ушли на нос парохода.

— Вот это называется тихоня! — возмущался, потрясая благородными сединами Мещанский. — Подхалим в самом подлом и неприглядном виде, вот кто Телятников.

— Пресмыкающееся животное! — кипятился Самцов.

И пока Базилевский целовал уже выше локтя руки пылающей жаром мадам Попадеевой и без особого сопротивления добрался до оголенного плечика, Мещанский и Самцов молча ходили в каюту, выпивали по стакану водки, возвращались к бочке, выпивали по кружке пива и, мрачные, шли обратно в каюту за водкой.

Уж под вечер разразился скандал. Мещанский сцепился с Самцовым. Они долго катались по палубе, но их, наконец, разняли, и они помирились, поцеловались, всплакнули и сообща, без предупреждения и не объясняя причины, начали бить баяниста. На пароходе раздавались крики, надрывно визжали женщины и плакали перепуганные дети.

В наступающих сумерках непрерывно, как во время бедствия, сигналя, пароход пристал к пристани. Так и окончилась культурная вылазка.

На следующий день, в понедельник, предместькома Мещанский, с подбитым глазом, опухший, прошел мимо стола Телятникова не здороваясь и, сойдясь с Самцовым, громко, так, чтобы все слышали, сказал:

— Товарищ Самцов, мы стали жертвой подлой провокации! Вы думаете, некоторые настаивали на покупке бочонка пива просто так? ..

Самцов с разбитой и заклеенной папиросной бумажкой нижней губой, решительно произнес:

— Пора вывести бузотеров на чистую воду!

Потом они оба пошли в кабинет Попадеева, а Базилевский стоял у двери и подслушивал.

А через неделю Попадеев подписал приказ об увольнении Телятникова «по собственному желанию».

В общем, — был Макар Петрович Телятников, и не стало Макара Петровича Телятникова. Бедный Макар, но сам во всем виноват. Нельзя злоупотреблять человеческим терпением.

Духов надо уважать

До недавнего времени товарищ Пуповкин не знал, кто такой Мартын Задека. И если бы его, до недавнего времени, спросили: «А вы знаете Мартына Задеку?» — он, возможно, развел бы руками. Возможно, сказал бы: «А пес его знает, кто такой Мартын Задека, плевать я на него хотел!» Могло случиться и так, что он ухватился бы за этот невинный вопрос и написал бы в комиссию партийного контроля: «Распускаемые злостными элементами слухи о моем знакомстве с неким Мартыном Задекой являются наглым вымыслом, имеющим своей преступной целью подрыв авторитета честного партийного работника и члена КПСС с 1924 года (Ленинского призыва!). Категорически прошу принять строжайшие меры для пресечения . . . и т. д. . . . по имеющимся у меня сведениям эти злостные, клеветнические слухи распространяет товарищ . . . и т. д. . . . которого можно заподозрить со всем основанием в преступном нарушении постановления . . . и т. д. и т. п.»

В общем, до недавнего времени, товарищ Пуповкин ничего не знал о Мартыне Задеке.

Но вот недавно товарищ Пуповкин узнал, кто такой Мартын Задека. И не только узнал, но и начал его уважать, начал его слушаться, подчиняться ему. Впрочем, подчинялся он не самому Мартыну Задеке, — сей известный маг и халдей давно умер. А подчинялся Пуповкин духу покойного Мартына Задеки. Духу, который сидел в бутылке.

И началось все это следующим образом.

Жена товарища Пуповкина, как-то выпроваживая его утром на службу, сказала:

— Ты, Феденька, зашел бы по дороге на толкучку и купил бы ты, Федюнчик, лаврового листа у спекулянта. Во всей Москве лавровый лист только у него есть. Два рубля пакетик, из газеты склеенный. Лавровым листом хорошо суп заправлять . . .

По пути на работу Пуповкин сделал небольшой крюк и очутился на толкучке, что в самом центре Москвы, на Садовой, около зимнего цирка. Он живо разыскал единственного спекулянта лавровым листом, полез в карман за кошельком, чтобы достать два рубля, но в это время милиционер цап! — спекулянта за рукав:

— Иван Петрович, вы опять арестованы за беспатентную продажу лаврового листа. Сходим, Иван Петрович, у милицию.

Спекулянт спокойно собрал свои пакетики в чемодан и отвечает милиционеру:

— Хорошо, дорого-уважаемый Сергей Михайлович, давайте опять сходим в милицию.

Пуповкин хотел было воспользоваться этой идиллией, полез к спекулянту с двумя рублями, но тот отстранил его деньги и говорит:

— Сейчас не могу отпустить, я арестован. Но долго пить чай и прохлаждаться в милиции я не буду. Если вы подождете минут двадцать, я успею вернуться. Пока! . .

Ну, товарищ Пуповкин, конечно, остался ждать.

Ожидает Пуповкин. Кругом море народа толчется. А товаров! . . Откуда спекулянты только умудряются их доставать! . .

Тут тебе и сахарин продают. И резинки, которые в трусы вдевают, на локоть меряют. Иголки для швейных машин; галоши и старые, и новые; гвозди; бюстгальтеры на разные размеры; штаны, какие угодно; сушеные грибы, электрические провода, мазь от мозолей. . . В общем, любой дефицитный товар достать можно.

Удивляется товарищ Пуповкин такому изобилию, разглядывает все вокруг, а толпа так и буровит, так и буровит! Несет его по водовороту. И вот слышит товарищ Пуповкин го-

лос. Собственно, вначале он подумал, что это хрипит испорченный громкоговоритель, до того голос этот был глухой и сиплый, как из пивной бочки. И ревет этот голос некие в роде бы заклинания в стихах:

«Дух Мартына Задеки, опустишь на дно моря,
узнай людские радости и горя,
узнай и скажи, как все есть,
докажи людям свою честь!»

Ну, а дальше сиплый голос переходит на прозу и бубнит:

— Граждане, только один рупь стоит заглянуть у свою судьбу. Давай! Навались! Не жалея рублевки! Рупь не деньги, судьба дороже! Гражданочка, как насчет вашей судьбы? Абр-р-ратитесь к попке! . .

Заинтересовался товарищ Пуповкин, полез поперек течения. Наступил кому-то на ногу, лишился пуговицы, сапогом ему в глаз ткнули, но все же добрался. Добрался он и видит: в кружке любопытных стоит небритый субъект с красным носом. На груди у него лоток с белым унылым попугаем. В лотке билетик. А в руке он держит и большим пальцем затыкает обыкновенную пустую поллитровую бутылку. Вот и все техническое оснащение.

Когда кто-нибудь даст субъекту рублевку, он ткнет попугая бутылкой, попугай перестает скучать и вытаскивает клювом билетик. Билетик чистый, может быть только заплеван и загажен попугаем, но на нем ничего не написано. Субъект опускает билетик в бутылку, опять затыкает ее большим пальцем и бубнит заклинания в стихах, просит дух Мартына Задеки, который сидит, зажатый в бутылке. И тут получается чудное волшебство: на чистом билетике появляются буквы, написанные корявым почерком, потом — целые слова, а дальше — целые надписи. Короче, дух Мартына Задеки доказывает людям свою честь и за рубль предсказывает судьбу.

Смотрит товарищ Пуповкин на это жульничество и возмущается темнотой народа. Возмущается и удивляется он, как это люди в наш просвещенный век могут, прочитав жульнический билетик из бутылки, пугаться, радоваться, краснеть

или печально опускать нос. А когда одна молодая особа, прилично одетая и с комсомольским значком на груди, прочитав билетик, нежно этак прижала его к груди, товарищ Пуповкин плюнул с досады:

— Сорок лет боремся с предрассудками и мистикой, и вот тебе! . .

И хотел товарищ Пуповкин уже уйти, чтобы не видать такой темноты и отсталости, но потом подумал: «А почему бы и мне не попробовать? . . Рубль всего обман стоит, в другом месте за рубль и не обманут! . . »

Бросил он субъекту с красным носом рублевку и говорит попугаю:

— А ну, попка-дурак, тяни пожирнее!

И вышло ему следующее:

«На сердце вы счастливые, но не умеете пользоваться своим счастьем. У вас есть недруги, хотящие вашей беды и гибели. Но вы можете своего добиться, если будете действовать через дружественного брюнета из казенного дома. Не откладывайте вашего интереса в долгий ящик. С приветом и уважением до вас, дух Мартын Задека.»

Прочитав это, товарищ Пуповкин сунул небрежно бумажку в карман, потом купил пакетик лаврового листа и пошел на службу, совсем даже забыв о глупом предсказании.

И надо тут рассказать, что товарищ Пуповкин работал каким-то пятым заместителем четвертого помощника начальника отдела учета партийных кадров на букву «Ж» Московского горкома партии. Короче говоря, должность для члена партии с 1924 года не ахти какая. Другие, на десять-двадцать лет позже поступившие в партию, были уже министрами, членами ЦК, а товарищу Пуповкину не везло. То напишет донос не на того подлеца, на которого следовало. То начнет делать услуги, воркует, рассыпается мелким бесом вокруг какого-нибудь сукиного сына, которого вскоре прут по всей лестнице вниз, а то и глубже. То еще что-нибудь такое наворотит, что потом сам только удивляется, как это еще он в живых ходит. Не было у него счастья. Но товарищ Пуповкин не терял надежды полезть наверх, всегда при любом случае старался, как мог.

Однако, в этот же день, когда он побывал на толкучке, он перестарался. Написал несколько доносов, отдал кому следует, а в одном случае перепутал: занес в кабинет заместителя начальника отдела Бабакова донос на самого же Бабакова. Сидит Пуповкин скромно в кресле, пока Бабаков на себя донос читает, и ждет одобрения. Думает, может быть теперь ему повышение по службе, наконец, выйдет.

И не надо было, товарищи, быть Мартыном Задекой, чтобы догадаться, что из этого получилось. Бабаков выгнал Пуповкина со службы и клятвенно поклялся сжить его и весь род его со света. А Бабаков мог! У него родной брат работал поваром у члена ЦК! . . . Большие связи у него были! . . .

Очутился товарищ Пуповкин на улице в самых расстроенных чувствах и не знает, что ему делать, как ему спастись. Ломал он себе голову, напрягал сознание, соображал, как ему можно подкузмить Бабакова, чтобы самому выскочить из этого плачевного положения, а потом случайно вспомнил о билетике от духа Мартына Задеки.

Утопающий, если он даже и партийный, все равно хватается за соломинку. Прочитал он этот билетик и словно бы прозрел: все правильно предсказал дух Мартына Задеки. Прямо, как в глаз попал, сказал, что Пуповкин счастлив, но не умеет пользоваться счастьем. Предсказал, что у него есть недруги, желающие его гибели. Это, конечно, Бабаков и все остальные. Предсказал, что Пуповкин может Бабакова и всех остальных утопить, если обратится к другу-брюнету из казенного дома. И даже дал указания, не откладывая дела в долгий ящик. Пуповкин это и без Мартына Задеки понимал.

Но вот вопрос, кто же этот друг-брюнет из казенного дома?

Начал Пуповкин лихорадочно перебирать в уме всех знакомых брюнетов. Думал, думал и все брюнеты из казенного дома оказались сволочами. Потом вдруг припомнил: «Кикин ведь брюнет, работает в обкоме партии и хотя я в свое время на него капал и даже сильно, но это было давно, он мог забыть.»

Помчался он к Кикину. Тот его принял этак любезно и говорит:

— Ты Пуповкин, подлец из подлецов, но ты мне можешь пригодиться. Поэтому я тебя временно люблю.

Пуповкин, не откладывая дела в долгий ящик, обвинил Бабакова во всех уклонах, земных и небесных. А Кикин ему в ответ:

— Знаю по собственному опыту, что ты врешь, но для тебя я могу Бабакова съесть не облизнувшись. Ты мне пока нужен.

В общем, Бабаков полетел в тартарары, не помог и брат повар, а Пуповкин занял его место. Стал он персоной важной, но ума не теряет. Понимает, что на сукиного сына Кикина надежды мало, что Кикин его использует, а потом развеет его прах по ветру.

И начал он с этого дня каждое утро наведываться на толкучку и за рубль получать директивы из поллитровой бутылки. Мартын Задека, этот беспартийный маг и халдей, оказался духом дельным, зря слов на ветер не бросал. Как напишет, так и будет. Напишет: «Опасайтесь подвохов со стороны врагов, но ничего напротив не делайте. Враги сами себя изничтожат...» Пуповкин видит, как плетутся против него козни, и только жмурится. А там, через некоторое время, смотришь, и сбылось предсказание: посадили кого-нибудь, а один паразит, которого, казалось, ничем невозможно было истребить, взял да и попал в пьяном виде под самолет: загляделся на авиационном празднике, так ему башку крылом снесло.

Или напишет дух Мартына Задеки: «Теперь настал ваш час блаженства и всех удач по службе и в сердечных делах», — товарищ Пуповкин сразу же выступает на собрании, начинает кого-нибудь громить, да так мощно, как можно громить только уже исключенных из партии или пойманных с поличными врагов. И все правильно получается. Один летит вниз, — Пуповкину очередное повышение.

Медленно ли, быстро, но через два месяца, действуя при помощи духа Мартына Задеки, товарищ Пуповкин дал подножку товарищу Кикину, сел на его место и начал приглядываться: кого же следующего?

И до того к этому времени он поверил в свои силы, что даже иногда начинал поругивать дух Мартына Задеки, если

тот сдерживал его, советовал не спешить, обождать. А однажды, получив от субъекта с красным носом билетик, на котором было написано: «Ежели вы будете проявлять интерес к чужому счастью, то себе можете проворонить», — товарищ Пуповкин только презрительно скривился, скомкал и выбросил билетик. Сами, мол, с усами! И в тот же день разгромил в пух и прах второго секретаря обкома и занял его место.

Теперь товарищ Пуповкин большой человек, работает в ЦК, имеет две дачи, три автомобиля, виллу в Москве и дюжину челяди: шоферов, поваров, горничных. На толкучку он не наведывается и, хотя он теперь знает, кто такой Мартын Задека, но больше услугами его не пользуется. Не пользуется и зря делает, потому что недавно одному гражданину белый унылый попугай вытащил билетик: «Если не изменитесь, вам предстоят круглые неприятности и дальняя дорога через казенный дом.»

Может тот билетик и был предназначен для товарища Пуповкина? Зазнаваться не надо. К духу Мартына Задеки надо относиться с уважением — он беспартийный маг и халдей, он не подведет.

Слово очевидца

Инженер Борис Николаевич Торопыгин несколько лет принципиально не ходил на разные лекции и доклады, устраиваемые в заводском клубе. То есть, он-то бывал на лекциях и докладах, но только в тех случаях, когда по циркуляру сверху ругали империалистов и агрессоров, когда улизнуть было так же невозможно, как невозможно было не подписаться на добровольный государственный заем.

Однако, когда в клубе и в цехах вывесили афишу, что состоится доклад известного хирурга, профессора Гнедкова, о его туристической поездке по Европе, Борис Николаевич Торопыгин в тот же день сказал жене:

— Ну, Манюся, на этот раз надо пойти. Как-никак — первый настоящий очевидец.

— Ах, Боренька, опять там будут плакаться в жилетку, — вздохнула Мария Семеновна.

— Не думаю, — возразил Борис Николаевич. — Профессор Гнедков — ты помнишь, он у меня вырезывал грыжу? — старик в высшей степени почтенный. Всей правды он, конечно, не скажет, но и врать будет в меру.

В воскресенье вечером Торопыгины, с трудом пробравшись через толпу, заполнившую зал клуба, и раскланявшись по дороге с знакомыми, заняли в первом ряду свои места. Слева от них сидел главный инженер завода с женой и двумя взрослыми дочерьми. Место справа, приходившееся как раз напротив лекторского подиума, занимал неизвестный гражданин такого сугубо партийно-аппаратного вида, что спутать его с обыкновенным смертным можно было только в состоя-

нии, когда не тяжело спутать рублевую бумажку с местной газетой. Торопыгины, косясь в его сторону, шепотом перебра- сывались незначительными фразами о погоде.

Как только вышел на сцену профессор Гнедков, седоборо- дый и смущенно кивающий на ходу в ответ на громкие апло- дисменты, сосед Торопыгиных справа, восседавший в размо- ренной барской позе со скрещенными на груди руками, сразу же оживился и достал из кармана пиджака блокнот и ка- рандаш.

Профессор начал доклад с рассказа о посадке туристичес- кой группы на теплоход в Одессе. Говорил он медленно, мо- нотонно, часто пользуясь «так сказать», «как говорится», а то просто, продолжительно мзкая и уперев взор вверх, по- глаживал бороду. В публике громко переговаривались, смор- кались: чувствовалось плохо скрываемое нетерпение.

Когда профессор Гнедков добрался до того, как теплоход удалялся от Одессы, гражданин партийно-аппаратного типа привстал и сладеньким голосом спросил:

— Скажите, товарищ докладчик, а вам тяжело было рас- ставаться с родиной?

Профессор растерянно посмотрел на него:

— Мда-с, конечно. . . — выдавил он из себя. — Мне тяже- ло было расставаться с родиной.

В задних рядах кто-то внятно проговорил: «Ой, я сейчас, кажется, заплачу!» По залу прокатился легкий смешок. Пар- тийный аппаратчик быстро оглянулся, держа наготове блок- нот и карандаш. Смешок увял. В зале воцарилась нудная, как во время предвыборной агитации за кандидата в депута- ты, которого — все знали — выберут без всякой агитации, обстановка.

Но на самого докладчика казалось бы невинный вопрос произвел почти магическое действие. Профессор, перейдя сразу же к рассказу о посещении первых на пути румынско- го порта Констанца и болгарской Варны, заговорил стандарт- ными газетными фразами: «Народное хозяйство Румынии, под руководством партии, цветет небывалым. . .», «расцвет народного благосостояния Болгарии. . .»

— Боренька, пойдём домой, — тоскливо шепнула Торопы- гина мужу на ухо.

Борис Николаевич, подбадривая, пожал локоть Марии Семеновны:

— Следующая остановка была в Греции. Потерпим. . .

И когда, наконец, профессор Гнедков, все возвышая старческий, дребезжащий голос, произнес:

— Ранним утром теплоход подошел к греческому порту Пирей. Вдали, как волшебное видение, словно из-под земли выросли Афины с господствующим Акрополем. . . — в зале стало так же тихо, как, наверное, было тихо на теплоходе в то время, о котором вдохновенно рассказывал докладчик. — Сплошное море белого мрамора, здания старинной архитектуры, где в каждом камне чувствуется дыхание веков — вот что такое Афины! Огромный богатый город раскинулся вокруг зеленой горы Акрополя с шапкой из древних величественных развалин, воздвигнутых руками человека еще за пять столетий до Рождества Христова. . .

— Скажите, товарищ докладчик, — громко спросил партаппаратчик. — Не бросилась ли вам, когда вы сошли на берег, сразу в глаза ужасная картина бедствия греков, массы безработных и прочее?

— Что? — ошалело посмотрел на него профессор, видимо все еще витая над вечными развалинами.

— Я спрашиваю о страданиях греков под реакционным правлением их короля. Расскажите нам о безработных и голодающих.

И опять профессор заговорил, словно ему положили на подиум последний номер «Правды».

— Борис, пойдем, — захныкала шепотом Мария Семеновна. — Ах, Господи, зачем мы сюда пришли? . .

— Ничего, Манюня, ничего, — успокаивал инженер Торпыгин.

Доклад продолжался почти все время в виде вопросов и ответов. Как только профессор забывался и начинал чем-нибудь восхищаться, партаппаратчик бесцеремонно перебивал его и ставил «наводящие вопросы». Даже когда профессор начал рассказывать о Лувре, о самой богатой в мире коллекции картин, партаппаратчик и тут нашелся:

— А не показалось ли вам, товарищ докладчик, что в Лувре не умеют так бережно хранить произведения искусства, как у нас, например, в Третьяковской галерее?

Профессор в отчаянии дернул себя за бороду и, зажмурившись, покорно сказал:

— Показалось.

— Боречка, умоляю тебя, пойдем. . .

— Неудобно, еще могут подумать, — увещевал Борис Николаевич.

— Ну и пусть думают. Я плевала! . .

— Нельзя. . .

— Хочешь, я сейчас заболую? — Мария Семеновна зашептала жарко и страстно. — Хочешь, у меня заболит зуб или голова? . . Боря, прошу тебя, дай мне заболеть!

— Подождем, Манюнечка, подождем. Дальше будет интереснее.

Торопыгин уговорил жену и они досидели до конца нудного доклада.

Когда раздались жидкие хлопки, публика дружно встала, партаппаратчик самодовольно закрыл блокнот. Борис Николаевич, бросив жене: «Я сейчас!», поспешно и с таким видом, словно он делает нечто недозволенное, стал пробираться через толпу за кулисы. Там он подошел к одинокому, стоящему в смущенной позе, профессору Гнедкову и, не теряя времени, сказал:

— Дорогой Владимир Владимирович, вы меня помните, я был у вас с грыжей?

— Помню. Инженер Торопыгин? — рассеянно ответил профессор.

— Он самый, — заспешил Борис Николаевич. — Очень прошу вас, только в двух словах, как же на самом деле там?

Профессор вздохнул и с чувством сказал:

— Живут!

— Большое спасибо! — расплылся в улыбке Торопыгин и поклонился.

В этот же момент профессора потянул в пространство между кулисами главный инженер завода, но Торопыгин и не пытался задержать его. В стороне, терпеливо ожидая своей очереди поговорить с профессором, собрались еще несколько человек.

К жене Борис Николаевич вернулся возбужденный и довольный. Он взял ее под руку и молча повел к выходу. На улице он нагнулся поближе к Марии Семеновне и, смакуя каждое слово, сказал:

— Живут же там люди! . . . Мне только что профессор рассказал кое-что. Знаешь, в Париже есть такой универмаг: заходишь в пустой зал, стены красного бархата, нажимаешь кнопку «мужские ботинки», а потом кнопку с твоим номером, и сразу же вдоль стены на конвейере перед тобой проплывают тысячи разных ботинок. Выбери, что хочешь. . .

Борис Николаевич врал, но верил, что в Париже есть такой универсальный магазин. Мария Семеновна знала, что он врет, но слушала, затаив дыхание. И обоим им хотелось, чтобы это выглядело как правда, чтобы в Париже все было так на самом деле.

На улице было темно. Под ногами шуршали опавшие листья. Около забора обширного здания заводского общежития стояли, плотно обнявшись, парень в ватной стеганке и девушка в коротеньком пальто и сапогах. А на углу, у фонаря, спорили двое пьяных. Один площадно ругался; второй плакал: «Костя, ну дай мне по рылу, дай! . . .»

Памятник дворнику

Каждое утро управдом Голубцов встречался около дома с дворником Квасниковым. Лицо у управдома всегда заспанное, глаза припухшие, дряблые щеки отвисают, как у мопса. Он держит подмышкой увесистую домовую книгу. Дворник, вдоволь намахавшись метлой, при виде Голубцова берет под козырек, расправляет пышные усы и хриплым ефрейторским голосом приветствует:

— Здравия желаю! . .

И каждое утро между ними происходит один и тот же разговор.

Управдом Голубцов смотрит на небо и в зависимости от погоды сообщает — ясное небо, или будет дождик, или когда уже прояснится? . . Дворник Квасников веско поддакивает. После этого Голубцов достает пачку папирос, закуривает, пуская первый густой клуб дыма вверх, притом делает это он с силой, словно отдувается, и начинает расспросы.

— Так значит никаких происшествий?

— Никаких, — отвечает с некой ноткой сожаления дворник.

— Без прописки никто не ночевал?

— Не замечал чтой-то.

— Так, так. . .

Это стандартное вступление. Дальше управдом Голубцов пускает еще один густой клуб дыма и начинает вкрадчивым голосом:

— А как у Поскунова, не приходила ли к нему та блондинка?

— Не замечал, — уклончиво замечает дворник.

— Замечать надо, товарищ Квасников. Это служба, — строго говорит Голубцов.

— Я стараюсь, товарищ управдом, стараюсь, но где тут за всем усмотреть?

— А как у Коноваловых? Собирались студенты? — опять переходит на вкрадчивый тон Голубцов.

Дворник вздыхает, говорит, что дом большой, жильцов много, люди входят и выходят. Управдом задает еще несколько вопросов и идет с домовою книгой в милицию.

Так бывало каждый день. Но в это утро на вопрос: «Так значит никаких происшествий?» — дворник помедлил с ответом, погладил усы и задумчиво сказал:

— В общем можно считать, что было происшествие. . .

Заспанность словно рукой сняло с глаз управдома. Дряблое его лицо напряглось, как перед прыжком:

— Да ну?!

— Да, было происшествие, — подтвердил Квасников и медленно, с чувством, начал рассказывать: — Вчера, понимаете, вижу я, тащит Коновалов домой чтой-то такое большое, в простыню завернутое.

— Ага! — понимающе закивал Голубцов. — В простыню, значит, завернутое.

— Заметил я это и думаю — что такое? Почему несет? Что может быть в простыне завернутое? И засело это у меня в голове и никак не выходит из головы. Что же такое было в простыне? . . И решил я на всякий случай проследить. . .

— Так и надо! Так и надо! — одобрительно закивал управдом.

— И вот, понимаете, лег я вечером спать и все думаю. Не сплю, ворочаюсь, как будто меня клопы грызут. Потом повело меня на сон. Вздремнул я и все думаю, что же такое Коновалов в простыне в дом вносил? Во сне, понимаете, сплю и думаю. И вдруг слышу я шаги на лестнице. Кто-то так тихонько идет. Крадется, понимаете.

Управдом Голубцов неожиданно покраснел, нервно затаился и глухим голосом спросил:

— Сколько это часов было?

— Я специально, понимаете, и на будильник посмотрел. Чиркнул спичкой — двенадцать часов и четырнадцать минут ночи.

— Ага, понятно, — опять успокоился управдом. — Продолжай. . .

— Нацепил я, конечно, штаны, накинул пальто и на лестницу. Надо, думаю, проследить.

— Конечно, так и надо. . . Хвалю! . .

— Иду я по лестнице тихонько, ни гу-гу. Как мышь. И слышу, кто-то выше на один пролет потихоньку крадется. Ну, думаю, так честный человек красться не будет. И вдруг, слышу я, — остановился. На четвертом, понимаете, пролете. И тихонько так, чевг-чевг, к двери Коновалова. Ага, думаю, тут тебе и разгадка! — дворник многозначительно поднял указательный палец.

Управдом Голубцов опять забеспокоился и спросил о времени.

— Говорю вам, что то было в двенадцать часов четырнадцать минут ночи.

— Ну, тогда продолжай, — проговорил управдом и почему-то посмотрел на свои ручные часы. Он потряс руку, приложил часы к уху, завел до отказа, опять потряс рукой, прислушался.

— Вот вам и теперешняя продукция, — проговорил, сокрушенно вздохнув, дворник. — Мой будильник, понимаете, пятьдесят лет идет и еще столько же будет тикать. Вот, значит, слышу я, постоял этот тигчик-субчик у дверей Коновалова, прислушивался, наверное, а потом, теп-теп, дальше крадется. Поднялся выше и тихонько так в дверь Зои Михайловны, той, что в милиции машинисткой, тук-тук. Два коротких и три длинных. Ага, думаю, дело, значит, не в простыне!

Управдом смял папиросу и с отсутствующим лицом пожал плечами:

— Что же, она в конце концов холостая. . . Бывает. Это жизнь. . .

— Ага, думаю, вот тебе и шуры-муры! — торжествующим тоном продолжал дворник. — Не к одному, значит, Поскунову блондинка может бывать ходит. Я того не видел, что к Поскунову, но тут, думаю, надо установить в точности. Решил я устроить засаду внизу около дворницкой под лестницей и подождать, когда этот субчик будет назад с лакомства идти. Может же то кто из женатых, предполагаю. . .

Бледное лицо управдома опять залило краской. Он опять закурил, затянулся несколько раз подряд, и, стараясь не смотреть на дворника, спросил:

— Ну и как?

Дворник почесал затылок, помедлил и с сожалением произнес:

— Не удалось! Сидел я в засаде, продрог и, думаю, дай на минуту пойду погреюсь. А он, этот субчик, наверное, в это время и смылся. Но я его еще поймаю. Подстерегу и вам доложу! . . .

— Да, конечно! — с облегчением бодро произнес Голубцов. — А вот сейчас лучше может быть помалкивать. Не распространять слухов. А то у нас такие люди! . . . Начнутся склоки, разговоры. Обвинят еще кого-нибудь невинного. Например, меня, — он попытался честно и прямо смотреть в глаза дворнику. — Жена моя, сами знаете, уехала. Так-так. . . А фартук у вас старенький, пора выдать вам новый . . .

— Давно прошу выдать.

— Я уж постараюсь.

Управдом умолк, посмотрел задумчиво на небо и постепенно лицо его приняло недовольное, раздраженное выражение.

— Эх, отдыхали бы вы по ночам, старик! . . . Откуда такая подозрительность? Какое вам дело до того, что Коновалов что-то в простыне носит? Жизни от вас никому нет. . .

Дворник с виноватым видом покручивал ус.

— Так может, того, прекратить наблюдение?

— Давно пора, прошли уже те годы . . .

Управдом Голубцов швырнул окурок, гневно растоптал его и поплелся в милицию, держа домовую книгу подмышкой.

Дворник стоял, опираясь на метлу. В лучах восходящего солнца он был похож на бронзовый памятник победителю, грудью своей защищавшему народ.

О росте благородства

Капитализм, бешеная погоня за долларами, все это сильно огрубляет нравы людей. Взять к примеру американских гангстеров. Ворвутся они в банк, кассиру — пуля в лоб: не шевелись, мистер! Потом навалют деньги в мешки, погрузят в машину и умчатся, дико стреляя во все стороны. Ну, прямо таки, никакой жалости нет, никакого благородства. Но во всем этом, как еще указывал Карл Маркс, виноваты не гангстеры, а сама уродливая капиталистическая система, породившая уголовников. При социализме, как учил Карл Маркс, гангстеров быть не может.

Впрочем, воры, конечно, и при социализме встречаются. Бывают даже и бандиты. Гениальный Карл Маркс совершенно правильно писал, что при социализме нет причин для воровства и бандитизма. Но что же ты поделаешь, если воры и бандиты не читают трудов Маркса, не знают, что их древние профессии неммыслимы, когда орудия производства стали достоянием трудящихся.

Может быть тут виноваты некие рутинеры и оторванные от жизни начетчики, которые до сих пор, цепляясь за отжившее старое, запирают свои квартиры на допотопные замки — эти символы частной собственности. Может быть один вид допотопных замков пробуждает в воре инстинкты, которые, если бы не было замков и запоров, давно бы угасли? Может быть двери и сундуки надо не запирать, а заклеивать бумажками с отпечатанными на них соответствующими цитатами из классиков марксизма, доказывающими, что при социализме воровства быть не может. И уж наверняка, если бы все ночные сторожа читали лекции по марксизму, тогда

вора в такое место и калачом бы не заманили, а попал бы по ошибке — жизни не возрадовался!

Однако, как бы там ни было, но в условиях построенного социализма при победном движении к коммунизму, воры, мазурики, бандиты и жулики стали куда благороднее. Если этот замечательный прогресс будет так стремительно развиваться и дальше, то к моменту построения коммунизма уголовники, возможно, вообще, действуя по способности и приобретая по потребности, будут оставлять на месте преступления букеты роз и фиалок.

К этому дело и идет. Благородство среди уголовников растет. А вот вам и неопровержимый факт.

Как-то ночью, лунною и морозною, шел домой после какого-то ученого заседания академик Возявленский, один из ведущих химиков. Ученые мужи, как известно, в любом состоянии всегда думают, чего-то там изобретают, анализируют, а поэтому очень рассеяны. И вот, когда академик Возявленский, отворив калитку, зашел к себе во двор (жил он во флигеле, в глубине двора), и когда две фигуры, вынырнув из-за снежного сугроба, подступили к нему, он посмотрел на них восторженными старческими глазами и сказал:

— Коллеги, а все-таки це три, аш два, о два...

— Ну, не чумри! — глухим басом прервала, возможно, гениальнейшую формулу академика одна фигура и толкнула академика слегка в живот: — Сдрючивай это!

Но все же академик Возявленский был так занят своими мыслями, что только после того, как с него сняли шубу, он несколько удивленно спросил:

— Мы с вами знакомы?

— Скидывай клифт, — спокойно буркнул басистый.

— То есть, что значит «клифт»?

— Спинжак, старик, спинжак! — охотно перевел второй тоненьким тенорком кошачьего тембра. — Сдрючивай спинжак, понял? Раз мы тебе забарали, дак не вертухайся!.. Ты наш, понял?

С академика сняли пиджак, а потом все пошло гладко.

— Давай гудочек! — сняли галстук.

— Скидывай бабочку, — сняли рубашку.

— Федька, достань лопатник!

Академик почувствовал, как у него пошарили в карманах брюк.

— Пахан, лопатник у него был в клифте, а издесь бочата, рыжие бочата. Понял?

— Простите, вы на каком это языке говорите? — поинтересовался академик.

— Ты, старик, мне не ботай, а то как дам по рогам! — предупредил басистый, но кошачий тенорок оказался более воспитанным.

— Ты, старый фраер, не бойси, пахан шутит. Чмурит пахан, понял? Сдрючивай шкары! . .

— А что это такое?

— Шкары это брючата. Лопатник так и будет лопатник, или кошелек. Рыжие бока, бочата, понял? Так это золотые часы. Скидывай колесы, ботинки, понял?

Когда дрожащему на морозе академику сказали снять нижнюю рубашку и кальсоны, он взмолился:

— Милейшие, ведь я так могу простудиться, погибнуть! Кроме того, кальсоны мои сзади просижены и залатаны. . .

— Латка тоже мануфактура, — возразил бас. — Хочешь человеческого обслуживания, дак и ботай, скидывай!

Пришлось скинуть и нижнее белье. Но вот, когда вопрос зашел о носках, тут-то и стало заметно облагораживающее влияние социализма.

— Милейшие! — легко подпрыгивая, растирая себе живот, грудь и тощие ноги, закричал академик Возявленский. — Дорогочтимейшие, оставьте хотя бы носки! Пропаду, погибну, а я все же академик, большой ущерб для науки и особенно химии будет.

— А ты, старик, скидовой носки и жми домой, по дороге согреешься, — посоветовал бас.

— Пахан! — таким новым, облагороженным, вдохновленным голосом заговорил тенор. — Ты кнацаешь, он академик, может даже целый прохвессор, химик, понял? Может он той химией на пивоварном заводе пену вызывает и градусы накачивает, понял? Нельзя, пахан, с такого фраера дрючить усе, нехай топает в носках, понял?

Ну, тут между грабителями загорелся ученый спор. Бас доказывал, что на пивоваренном заводе главное не химия, а хмель. Тенор говорил, что, мол, вся польза бывает от микробов и, значит, все дело в химии. А голый академик уж и говорить не мог, только дрожал, как медуза, и по-волчьи клал зубами.

В конце концов, как и должно быть, победило новое и прогрессивное. Тенор переспорил баса и сказал академику:

— Потай, старик, в носках до хаверы. Ты, старик, полезный, может чего-нибудь там придумаешь или отчибучишь с микробами для крепости пива. Живи, старик, понял?

Конечно, если бы это раздели не академика Возьявленского, а какого-нибудь юношу или сорокалетнего ровесника Октября, то ничего бы они не заметили и ничего бы не оценили. А академик Возьявленский после того, как его дома жена растерла спиртом, отпоила горячим чаем, первым делом сказал:

— Душечка Нионила Филипповна, ты помнишь, как меня раздевали в девятнадцатом году? Тогда все сняли. А вот теперь, представь себе, носки все же оставили. Растет, как не говори, благородство даже среди грабителей!..

Правда, академик Возьявленский человек был аполитичный, Маркса в жизни не читал и не понял он действительных причин облагораживания уголовников. Не понял и объяснил это тем, что на грабителей благотворно повлияло развитие науки. Что поделаешь, он — ведущий химик, такого надо терпеть. Может он действительно что-нибудь придумает для повышения крепости пива?..

Клоунада

Номер, значившийся на цирковых афишах, как «Братья Ложкины — оригинальные буффонадные клоуны», на протяжении тридцати пяти лет упорно шел без всяких изменений. Один из братьев Ложкиных, Степан Макарович Хомутов, был «белым клоуном». Лицо у него было обсыпано мукой. Одет он был в костюм арлекина, с вышитым ниже спины улыбающимся солнцем. В руках он держал многострадальную колотушку.

Второй брат Ложкин, Евтихий Калинович Кудий, был «рыжим клоуном». На нем был традиционный рыжий парик. Рот у него был нарисован черной краской и доставал до ушей. Прилепной нос, красного цвета, был электрифицированный. А костюм Ложкина-Кудия состоял из латок и полосок, скрепленных огромными английскими булавками.

Выходя на арену, «белый» Ложкин нарочито писклявым голосом спрашивал «рыжего» брата:

— Почему ты такой скучный?

— У меня умерла теща! — мяукал в ответ «рыжий» лжебрат.

— Теща? — пискливо удивлялся «белый». — Когда у меня умерла теща, я радовался!

— А я вот скучаю! — упорствовал «рыжий».

«Белый» Ложкин находил ответ очень смешным и начинал усердно хохотать, брался за живот, топал ногами, показывая, что он не может остановить свой хохот. Публика же начинала томиться. Слышались зевки. Вздохи. Некоторые громко сморкались.

Все это братьев Ложкиных ничуть не смущало. За тридцать пять лет они привыкли к такой реакции публики. И если случалось, что в начале их комического номера в цирке кто-нибудь смеялся, они оглядывались на него, как на ненормального.

— Так ты скучаешь, потому что у тебя умерла теща? — окончив хохотать, еще более пискливо спрашивал «белый». — Чего же ты скучаешь? Чего? .. Чего? .. Ну скажи, чего? ..

Это был кульминационный пункт. Потом следовала развязка.

— Да потому я скучаю, — говорил «рыжий», — что пока моя теща была жива, я еще надеялся, что она умрет. А теперь, когда моя дорогая теща померла, я боюсь, что она воскреснет!

Оба брата Ложкиных начинали дико, словно голодные шакалы, хохотать. В публике царило уныние и недоумение. Но находились, разумеется, и такие утонченные знатоки юмора в публике, которым становилось смешно — они ржали, реготали и плакали от смеха.

Отдав скудную дань разговорному жанру и тем оправдав приставку к своему клоунскому титулу «буффонадные», Ложкины принимались смещать публику старыми, как само цирковое искусство, приемами.

«Белый» бил колотушкой «рыжего» и у «рыжего» брызгали струи из глаз, зажигалась лампочка в носу. Потом «рыжий» брат давал «белому» братцу коленкой под вышитое, улыбающееся солнце. Затем «рыжий» терял штаны, оставаясь в дамских кружевных панталонах, и убегал прятаться в публику. В заключение «рыжий» садился верхом на «белого» и, нахлестывая его, уезжал с арены. Вот и все, чем Хомутов и Кудий Ложкины служили святому искусству и зарабатывали себе на кусок хлеба.

Конечно, особого ущерба для циркового искусства не было бы, если бы Ложкины, вместо ветхозаветного реприза с тещей, взяли и рассказали один из тех анекдотов, которые они сами иногда рассказывали за кулисами. Но с другой стороны, почему бы это так, вдруг, ни с того ни с сего, после тридцати пяти лет с тещей, они бы взяли да и начали рассказывать на арене анекдот о любовнице под кроватью? Да и не надо это было. Поработав в одном цирке четыре-пять недель, Ложкины ехали в другой город, и пока они через несколько

лет возвращались в прежние веси, публика забывала реплику с тещей и слушала ее, как новую. Зачем было придумывать новое? Зачем было ломать золотую традицию?

Так себе и жили лжебратья, пока в каких-то высоких учреждениях не решили заняться приближением клоунады к современности и злободневности. Клоунов начали вызывать в Москву на переработку их номеров. Вызвали и Ложкиных.

И предстали братья Ложкины перед просмотровой комиссией. Комиссия состояла из доктора-психолога, профессора марксизма-ленинизма, троих писателей с блудливыми глазами и представителя от общественности — директора районного вытрезвителя.

Волнуясь и дрожа, братья-клоуны усердно тузили один другого, падали, теряли штаны и хохотали, держась за животы. Члены комиссии мрачно смотрели на них взглядами удавов. И только три писателя с блудливыми глазами не смотрели на клоунов, ни на членов комиссии. Склонившись над блокнотами, они писали с такой скоростью, словно не писали, а вычеркивали написанное.

Когда Ложкины окончили свой номер, профессор марксизма-ленинизма нудно заговорил о том, что при победном движении к коммунизму перед клоунами открываются неограниченные возможности, что Маркс, Энгельс и Ленин неоднократно указывали на значение смеха и что при капитализме нет никаких предпосылок для существования юмора.

Братья Ложкины усиленно поддакивали.

— А вот, скажите мне, — неожиданно задал вопрос профессор марксизма-ленинизма, — как товарищ Ленин называл ренегата Карла Каутского?

На размалеванных лицах братьев стали проступать капли пота.

— Не знаете? . . . Это плохо, что вы не знаете! Каждый клоун должен знать богатые страницы великого ленинского наследия.

Тогда взял слово представитель от общественности и директор вытрезвителя:

— А не кажется ли вам, товарищи, что красный нос у «рыжего» зовет трудящихся на антиобщественные поступки, на беспробудную пьянку?

— Учение Павлова об условных рефлексах, — авторитетным тоном заговорил психолог, — доказывает совсем даже

обратное. Красный нос должен пугать трудящегося, и если он будет пугаться, но все же пить, то это не от действия условного раздражителя — красного носа, а от привычки к алкоголю. А вот еще одно научное доказательство: недавно мы проделывали опыт — били собаку полкой по голове. . .

— Готово! — в один голос возвестили три писателя с блудливыми глазами. Они подали профессору марксизма-ленинизма готовый сценарий нового клоунского номера. Профессор сценарий одобрил, сказал, что он политически заостренный и хорошо отображает борьбу за производительность труда. Психолог и директор вытрезвителя тоже нашли сценарий удачным. Ложкиным было отпущено две недели на подготовку нового номера.

Разгримировываясь в уборной, «белый» брат с тоской говорил «рыжему» брату:

— Нет спасения ни на том, ни на этом свете, Евтих! Выгонят нас с тобой, ей-ей, выгонят! Набуровили наверное нам в сценарий разных высоких материй, условные рефлексy, Карл Каутский — Аллах его ведает, кто он такой! Ну где нам с тобой выгучить такой материал?!

— И не говори, и не говори! — сокрушаясь, крутил седой головой «рыжий». — Погибнем мы с тобой, как мухи в сметане! . .

Первый взгляд на сценарий подтвердил опасения братьев. Сценарий начинался с того, что после музыкального вступления на арену выходят два клоуна в костюмах рабочих. При этом следовало примечание: «Белый» клоун — рабочий сознательный, перевыполняет производственные нормы, борется за повышение производительности труда и посещает вечерний семинар по изучению марксизма-ленинизма. «Рыжий» клоун-рабочий постоянно недовыполняет производственные нормы, политически неразвит и тянет все производство назад.

— Сеня, как же это можно показать? — испуганным шепотом спросил будущий политически неразвитый клоун-рабочий.

— А черт их знает, как!

— Ой, пропадем, не сможем осилить! . .

Дальше в сценарии был реприз:

«Белый» клоун: Почему ты такой скучный?

«Рыжий» клоун: Я скучаю с тех пор, как подох Гитлер!

«Белый» клоун: Гитлер? .. Когда подох Гитлер, то я был тому очень даже обрадован! ..

«Рыжий» клоун: А я вот скучаю!

«Белый» клоун: Так ты скучаешь, потому что подох Гитлер? («Белый» хохочет две с половиной минуты). Чего же ты скучаешь? Почему ты скучаешь? Чего? .. Чего? .. Ну скажи, чего? ..

«Рыжий» клоун (бодро): Да потому я скучаю, что пока Гитлер был жив, я еще надеялся, что он подохнет. А теперь, когда он подох, я боюсь, что Аденауэр его воскресит! (Оба клоуна задорно смеются, продолжительностью не менее трех минут).

Братья Ложкины, не веря в свое счастье, переглянулись. Дальше писатели с примерной точностью описали все зуботычины, пинки коленкой в той последовательности, с какой братья Ложкины привыкли делать за тридцать пять лет.

— Ну, Евтих, есть же еще люди, понимающие по-настоящему высокое искусство! — сказал «белый» брат.

Через две недели Ложкины в старом клоунском гриме, но одетые в рабочие комбинезоны, предстали перед комиссией. После первой же произнесенной мяукающим голосом фразы: — Я скучаю с тех пор, как подох Гитлер! — профессор марксизма-ленинизма заготовил так неожиданно, что привел клоунов-рабочих в немалое смущение.

Номер братьев Ложкиных комиссии очень понравился, но три писателя с блудливыми глазами стали вдруг выражать неудовольство своим же собственным сценарием. И пока один из них говорил, что надо бы добавить в номер побольше производственных элементов, два писателя, столкнувшись головами, строчили в одном блокноте. Через десять минут переделка была готова. Заклучалась она в том, что рабочие-клоуны должны были бить один другого гаечными ключами, молотками и прочими слесарными инструментами. Кроме того все действие должно было происходить около токарного станка, а над станком должен был быть плакат: «Все силы на выполнение семилетки!»

И опять был просмотр, и опять профессор марксизма-ленинизма заржал после первой же фразы «рыжего», и опять комиссии номер понравился, и опять писатели с блудливыми глазами потребовали переделки номера. Впрочем, теперь это не было неожиданностью. Теперь Ложкины знали, что

писатели получают за каждую переделку примерно столько же, как и за новый сценарий.

На этот раз писатели потребовали, чтобы «белый» клоун-рабочий показывал бы «рыжему» как надо правильно работать на токарном станке, и попутно они бы обменивались оплеухами, «рыжий» бы терял штаны и их затягивало бы в трансмиссию станка, и прочее. Комиссия новую переделку одобрила, и клоунов направили учиться на завод высотам токарного ремесла.

Пять месяцев Хомутов и Кудий Ложкины добросовестно изучали токарное дело под руководством седоусого мастера Михеича. К концу обучения они уже могли вытянуть на четвертый разряд. И когда после следующего просмотра три писателя с блудливыми глазами опять начали ратовать за переделку номера, Ложкины взбунтовались.

— Да разве это клоунада? Это же настоящий балаган! — громко вскрикнул политически сознательный «белый» клоун-рабочий.

— А ну вас всех в будку! — выпалил несознательный «рыжий». — Делать клоунаду — так делать клоунаду! Работать — так работать! Пошли, Семен, к Михеичу!!!

Теперь Хомутов и Кудий работают токарями. И если их по привычке иногда тянет в цирк, то клоунских номеров, прошедших через переработку комиссии, они не могут смотреть. Обидно смотреть во что превратили, пусть древние, пусть грубые и несмешные клоунские номера, наполнив их политическими репризами и производственной тематикой. Было плохо — стало невозможно смотреть.

Вопиющая несправедливость

Недавно, после тяжелой и продолжительной болезни, скончался Иван Андреевич Баранников. По всей вероятности, имя «ИВАН АНДРЕЕВИЧ БАРАННИКОВ» никому ничего не говорит. Ну, кто такой был Иван Андреевич Баранников? . . .

Сомневаюсь, что читатель знает что-либо о нем. Его знали считанные люди на земле. И это вопиющая несправедливость!

Итак, в голодном и бурном 1920 году, в кабинет седовласого профессора литературы вошел человек в широкополой черной шляпе, в черной крылатке, опирающийся на палку. Он был высокий, худой, слегка сгорбленный и у него были висячие усы.

— Алексей Максимович Горький! — радостно поднялся профессор с кресла, щуря близорукие глаза.

— Меня зовут Иван Андреевич Баранников, — волжским неторопливым говорком представился вошедший и сухо кашлянул в кулак.

Он без приглашения уселся у профессорского стола и вынул из кармана несколько листов бумаги, свернутых в трубку.

— Вот, профессор, отцом обзову! Соблаговолите посмотреть, один мой опус.

Иван Андреевич нажимал на букву «о», а слух ученого старика был музыкальный.

— Вы, наверное, волжанин? — заинтересовался профессор.

— О! Обязательно от Волги. Босяковал однажды с Олешой Горьким.

Профессор сочувствующе закивал и сделал вид, что верит. Деликатный был человек профессор и, чтобы подбодрить Баранникова, он сказал:

— Для писателя хорошо знать настоящую жизнь. То, что вы были босяком, это очень полезно. Гм... А какое у вас образование?

Иван Андреевич погладил висячие усы:

— Мои университеты — Александровский централ. Гимназии проходил в пересыльных тюрьмах.

— Это очень похвально.

Рассеянно улыбаясь, профессор взял со стола золотые часы с брелком в виде лиры, положил в карман жилетки и задержал руку на кармане.

— Я член партии, — как бы невзначай добавил Баранников, — с девятьсот пятого года. Политкаторжанин...

— Ах, это тоже очень похвально...

Профессор тоскливо посмотрел на окно. По небу проплывали низкие рваные облака, такие же суровые и неприветливые, как это суровое время. Баранников сухо кашлянул. Профессор нехотя развернул рулон рукописи.

Произведение называлось «Чайка». Написано было белым стихом.

«Море бушует! Бушует море! Пена, вздымаясь, валами клубится. Лишь чайка над пеной... Чайка над морем смело кружится! И бьет крылом...»

— М-да-с... неплохо, — профессор скривился, как от зубной боли. — Чувствуется влияние Горького. Весьма похвально. Если бы кто-нибудь поставил Горькому за «Буревестника» полную пятерку, то я бы вам поставил четыре с плюсом.

— Опишите тогда все это в какой-нибудь рецензийке.

— Видите ли, уважаемый... — профессор замялся, молча посмотрел в окно, а потом решительно потрянул седыми космами. — Видите ли, и «Буревестник» в наши дни.. того...

— Аах, ты ж гад! — воскликнул уже без всякого волжского акцента Баранников. — Дворянин вшивый! Мало таких, как ты, я к стенке поставил!..

Это была первая вопиющая несправедливость по отношению к Баранникову. Вопиющая несправедливость, потому что этот же самый седовласый профессор написал когда-то более дюжины хвалебных статей о «Буревестнике». Иван

Андреевич просто опоздал. После революции у профессора переменялись взгляды. Может быть, восторженного почитателя «Буревестника» и дворянина действительно в последнее время здорово заедали вши.

Через некоторое время Баранников написал пьесу «В яме». Действующими лицами в пьесе были босьяки, воры и проститутки. И так как время действия относилось к дореволюционным годам, то босьяки рассуждали, как мудрецы; воры философствовали о смысле жизни и о ценности человеческой личности; проститутки вообще не говорили, а проповедовали.

Прочитав «В яме», критики мычали что-то неопределенное, старались не смотреть в глаза члену партии с девятьсот пятого года. Режиссеры всячески старались избегать встреч с Баранниковым, а когда попадались, то жаловались на перегрузку театра репертуаром, томились, поглядывая на часы, и вежливо высвобождали пуговицы и рукава из цепких пальцев драматурга-политкаторжанина. И то, что эту пьесу никто не поставил — вопиющая несправедливость!

Престарелый герой-любовник, похожий на доживающего свои дни в зверинце облезлого льва, премьер одного московского театра, в порыве пьяной откровенности сказал Баранникову:

— Ты, Ванюша-брат, отмечен перстом Всеvyšнего! У тебя море таланта! Сам Горький перед тобой, как Сумбуров-Трубачев, — вот этот подлец! — передо мной или Качаловым! Но ты, душка, опоздал. Горький тебя опередил. Да и не тянет теперь смотреть на босьяков, лопающих вареное мясо, пьющих настоящую водку, когда я, мировая величина, дую самогон и закусываю гнилой воблой. Раньше бы публика-дура плакала, глядя на страданья падших, а теперь завидовать им будет.

После своей «В яме» Иван Андреевич Баранников с горя написал еще дюжину пьес, и только одна из них была поставлена на спектакле самодеятельности, членами профсоюза водовозов и пожарников, да и то не в Москве, а в городе Моршанске.

После моршанской премьеры Иван Андреевич потерял интерес к литературе и несколько лет по поручению партии занимал различные должности. Был комиссаром Сандуновских бань в Москве. Распродавал художественные ценности

из Эрмитажа иностранцам за валюту. Ездил в Астрахань руководить производством бочек и принимал руководящее участие в постройке дирижабля мягкой конструкции.

Вскоре после выхода в свет «Чапаева» Дмитрия Фурманова, Иван Андреевич появился в Москве с объемистой рукописью романа «Лантух».

Одетый в военную форму, без знаков различия, с непокрытой, слегка кудрявой головой, и моложавый, без обвислых усов, Баранников ошалело бегал по редакциям, предлагая эпопею о Федьке Лантухе, герое Гражданской войны, командире дивизии, краснознаменце и не менее красочной фигуре, чем Василий Чапаев. Между Лантухом и Чапаевым было много общего, и даже погибли они одинаково: в пьяном виде. Однако «Чапаев» обрел широчайшую известность, а «Лантух» не пошел. А почему не пошел, никто толком объяснить не мог. Ведь и разницы-то существенной не было.

Баранникова опять послали по партийной линии, на этот раз далеко — на полуостров Таймыр, разводить персики в зоне вечной мерзлоты, внедрять лыжный спорт среди самоедов и научно разоблачать шаманство посредством демонстраций карточных фокусов. И опять несколько лет из жизни Ивана Андреевича были потеряны зря для него, для партии, а также для всего мыслящего человечества.

Вернулся он в Москву в середине тридцатых годов. Потому, что он отрастил усы, на этот раз лихо закрученные кверху, носил барашковую шапку и ходил в широчайших синих галифе, знающие его люди поговаривали, что он написал роман из казачьей жизни. И действительно, у Баранникова была готова трилогия «Широкая Кубань».

«Широкая Кубань» была замечательным романом, и с точки зрения политической заостренности куда более ценным, чем «Тихий Дон», где есть симпатии к станичному кулачеству, и даже идеализация некоторых участников Белого движения. У Баранникова все было строго выдержано в стиле социалистического реализма. У него каждый несоветский персонаж был дегенератом, идиотом, грабителем и даже фамилию носил в роде «сотник Соплиевский», «хорунжий Мерзавцев». Положительные персонажи — красные казаки — были «Сидор Красавин», «комбриг Ураганов», «комиссар Мировой».

Бездарнейший «Цемент» Гладкова изучался в школах, «Соть» Леонова, скучную, как панихида по бездомной старушке, девушки читали в скверах и парках. Некоторые увлекались «Временем вперед!» Катаева. И чего только в то время не издавали, и чего только не читали, а «Широкую Кубань» не взяли в печать ни трилогией, ни в сокращенном виде, ни даже по главам в журналы.

Вскоре началась большая чистка. Противников социалистического реализма арестовывали сотнями, правда, уже после того, как окончили корчевать поборников и сторонников социалистического реализма. И Баранников благоразумно скрылся на Камчатку директором рыбоводческого института.

Он честно руководил институтом, требовал, чтобы в аквариумах с головастиками точно держали температуру в сорок градусов по Цельсию, и вместе со всем коллективом переживал, когда из головастиков получались лягушки вместо рыбы. Однако, литературой он не занимался. За этой благородной и ценной научной работой его и застала война.

Во время войны литературные работники были на вес золота.

Поэтому Ивана Андреевича спешно, на самолете, вывезли с Камчатки в Москву и назначили начальником одного из отделов ТАССа. Перед Баранниковым открылись неограниченные возможности писать и опубликовывать написанное. И он писал, но имени его никто не знал. Не мог знать, потому что все, что он писал, подписывалось то «Ганс Шнуре», то «ефрейтор Фриц Шмальц», то «обер-лейтенант Ганс Бутерброт». Баранников писал письма немецких военно-пленных для советских газет и для заброски, после перевода на немецкий, в тыл противника.

Последние годы своей жизни Иван Андреевич провел в постели. Старый, разбитый параличем, он тихо угасал и три года прожил слепым.

Подкравшееся к нему несчастье, слепоту, Баранников встретил с тихой радостью. На его изможденном лице появилось такое выражение, словно какой-то незримый ни для кого луч постоянно освещает лицо слепого старика, и он это чувствует, его этот луч ласкает. В короткий срок, мужественно борясь со слабостью, Иван Андреевич научился писать вслепую и написал роман «Как создавался гранит», в кото-

ром описать свою юность, гражданскую войну, борьбу за восстановление молодой республики. Отправив «Как создавался гранит» в редакцию и чувствуя, что дни его сочтены, Баранников начал второй роман «В непогоду рожденные». А когда у него отнялись совершенно руки, он начал диктовать сиделке. Окончательно устав от работы и отдыхая, он расспрашивал сиделку слабым голосом о том, что пишут теперь о Павке Корчагине, герое романа «Как закалялась сталь» Николая Островского, часто ли вспоминают Островского и не собираются ли Островскому поставить еще где-нибудь памятник.

Так и скончался Иван Андреевич Баранников, не окончив последний роман и не узнав, где еще будут ставить памятники Островскому.

А их будут ставить. Именем Горького будут еще называть новые города, улицы, поселки. О Фурманове будут писать целые тома. Шолохова будут читать через десятки, через сотни лет. А Иван Андреевич умер, и никто о нем не вспомнит, словно он не жил на свете.

И это вопиющая несправедливость.

Остерегайтесь!

Может быть в вашей местности появится Сашка Теребейников, этакый комсомолец-сверхидеалист, этакый новоявленный Павка Корчагин, так вы его остерегайтесь. В городе Светлобурске на Сашке Теребейникове обожглись и подскользнулись.

А произошло все это так.

Появился Сашка Теребейников в Светлобурске под осень. Хотел поступить в Институт Пуха и Пера, (который выпускает специалистов двух профилей: инженеров по подушкам и инженеров по перинам), да не прошел по конкурсу. Ткнулся он тогда в мукомольный институт, в сыроваренный, в колбасный и везде провалился.

Теперь-то всем в городе досконально известно, что Теребейников и не собирался поступать в ВУЗ. Но тогда, после стольких неудач, Теребейникова все жалели, все его приглашали, а ему только этого и надо было.

Зайдет он, например, в общежитие к будущим создателям перин, вид у него оборванный, сам он небритый, заросший, глаза горят таким неземным огнем, и начинает упрекать. Вот, мол-де, ребята, я, говорит, на собачей подстилке под лестницей сплю, питаюсь сырой крупой с сухими червями, а вы блаженствуете на соломенных матрацах, лакомитесь в столовках перловым супом. Тем не менее, я мол-де, собираю последние гроши и политическую литературу покупаю, Маркса, Ленина. Вам же даром давай, так вы ее читать не будете. Нет у вас комсомольской совести!

Или, например, зайдет он в общежитие к будущим инженерам-колбасникам и начинает: стыдно вам, ребята. Вчера в

клубе опять рокиролили под танго. Нет у вас комсомольской гордости! Преклоняетесь перед американщиной!

А то еще явится в женское общежитие, скажем, к мукомольшам и: как вам не стыдно, девушки! Комсомолки, а губы красите! Думаете о разных бантиках, перманентах, а когда последний раз «Комсомольскую правду» в руках держали? А когда в последний раз комсомольскую нагрузку выполняли?

И так целые дни Сашка Теребейников только и делал, что ходил из одного общежития в другое, ловил студентов на переменках, ходил по частным домам и все упрекал, поучал, призывал.

Указательный палец Сашки если не был обличительно направлен на кого-нибудь, то всегда указывал в сторону целинных и залежных земель. Вот, мол-де, там лучшие из лучших, а вы просто шваль, безыдейные скоты!

Правда, никто из молодежи не ударился в панику, не стал подражать Сашке и никто даже не подумал попроситься на целину, а если вызывали и заставляли, все выкручивались, как кто мог. Однако, правда и то, что хотя Сашка всем надоед, как комсомольские собрания, хотя его и считали доисторическим психопатом, но никто никогда не усомнился в его искренности. Натуральный псих и все! И до того все уверовали в это, что никто даже не подумал, почему это Сашка Теребейников, болтаясь без дела и призывая учащихся ехать к черту на кулички, сам не возьмет и не поедет.

И вот как-то в середине января, когда стояли лютые морозы, одна местная студентка, Аничка Мусина, наслышавшись о том, как страдает, живя под лестницей, Сашка, договорилась со своими родными пустить его на время в квартиру. Квартира у них была большая — из одной комнаты и чулана без окон, и решили они: пусть идеалист-Сашка временно, пока стоят морозы, спит в чулане.

Когда Аничка Мусина сказала Сашке об этом, он отмахнулся от нее:

— Это верно, что мне холодно спать под лестницей на собачьей подстилке, но не это важно. Вот сейчас в Алжире, под колониальным режимом, хотя и не холодно, но люди страдают. Это меня тревожит более.

Аничка, видя, что морозы не сломили сашкиного идеализма, долго его упрашивала, умоляла, по рукаву гладила, а по-

том пошла на хитрость: сказала, что у нее законная двойка по политэкономии, что, мол, не может ли он прийти к ней домой и помочь ей вызубрить эту скукоту. Сашка, конечно, согласился.

Ну а дома Аничка отвела своих стариков в уголок, договорились о тактике и стратегии, и стали они сообща уламывать: чай вскипятили, суп с картошкой на стол поставили, хлеба нарезали. Начали они его упрашивать откусать. Мамаша, так та еще дальше пошла: потрепала нежно так Сашку по нечесанной гриве и сказала:

— Вы, неземной идеалист, последний из уцелевших, скиньте рубашечку! Чернее земли она у вас и вонь стоит, как на помойке. Я уж ее мигом выстираю, разогрею на примусе утюг и утюжком просушу.

Но Сашка на это не согласился. Нельзя, мол, заниматься стирками, когда в Африке негры без рубах ходят, а в Австралии упали цены на кроликов. Во всем мире, говорят, благодаря проискам капиталистов большие беды, и не время сейчас честному комсомольцу о чистых рубахах думать.

Говорит он о разных высоких материях так убежденно, а сам тем временем комнату разглядывает. И разглядывает не просто так, а основательно. Прошелся из угла в угол, стены обстукал, оконные рамы пошатал, посмотрел не протекает ли потолок. Местами пол прогнил, Сашка и это заметил, постучал ногой по ветхим доскам, вздохнул и как бы даже опечалился, но потом ничего, отошел. А уже поздно вечером, съев кастрюлю супа, Сашка совсем смилостивился и сказал:

— Ну, ладно, раз вы так меня умоляете, я могу на время остаться в чулане. Но не для себя я это делаю, а для вас. Теперь настоящих идеалистов нет, каждый думает только о себе, один я только о других думаю.

Радости Мусиных не было конца. Ну, думают, хоть он какой-то и не от мира сего, псих, но все же спасли живую душу.

На другой день Сашка Теребейников взял у старика Мусина бритву, кое-как поскребся на общей кухне, попросил зубного порошка, пальцем зубы почистил, вышел к завтраку, да и завел разговор насчет того, что, якобы, надо ему здесь прописаться, что без прописки жить значит родную советскую власть обманывать.

Мусины видят, что Сашка начинает преобразаться, на человека становится похож, думают, может факт прописки еще больше его очеловечит. Кроме того, прописывать чужого человека на своей жилплощади, конечно, самоубийству подобно, но Сашка — это другое дело. Идеалист, мол, беззаветный, последний честный из комсомольцев. Его, мол-де, прописать совершенно не опасно. В общем, прописали Сашку. И как-то так получилось, что хотели прописать его временно, а вышло, что прописался он постоянно.

Как только он стал законным жителем мусинской комнаты, тут он вдруг вспомнил, что у него на вокзале в камере хранения кое-какие вещицы мерзнут. Когда он жил под лестницей, то, разумеется, кроме собачей подстилки и политической литературы, ничего там невозможно было держать — неминуемо украли бы. Мусины против вещей не возражали. А старуха даже прослезилась:

— Касатик ты, кристаллический человек, наконец-то у тебя свое полотенце будет. Может и полпростыни найдется, пара подштанников... Заживешь!

И так Мусины были рады за Сашку, так верили в его моральную чистоту, что когда он привез к ним целый грузовик чемоданов, сундуков, огромный комод и две кадки с фикусами, они сами носили его вещи, а он только распоряжался где что ставить. Все это происходило в присутствии дворника и управдома. Управдом то и подал идею вытащить старый комод Мусиных в коридор, а на место него поставить сашкин комод. Мусины и на это согласились. Вещей в комнате — не пройти, да и сашкин комод был новенький, еще не потрескавшийся, фанера на нем нигде не отставала, и клопы в нем еще не успели гнезд свить.

На следующее утро Мусины, конечно, пошли на работу: Аничка в институт, старик на завод, старуха колоть и пилить дрова в городскую баню. А когда они вернулись под вечер домой, все их вещички стояли в коридоре рядом с комодом. Но и на этот раз Мусины не сумели распознать настоящих намерений Сашки. Думают, ну пошутил. Он настоящий идеалист, он может пошутить! Постучались, а Сашка из-за запертой двери:

— Советую вам не терять времени, в этом городе у вас уже нет жилплощади, и не получить вам ее. Поезжайте лучше

на целину. Первое время переобьетесь в палатках, а потом какую-нибудь будку сколотите.

Посмеялись Мусины. Очень уж им понравилась шутка Сашки. Сели на вещички, ждут, когда он впустит их в собственную комнату с чуланом без окон. Сидят час, другой, слушают, как Сашка за дверью заграничные танго распевает, целые американские джазы один изображает. Потом из комнаты потянуло ароматом яичницы, жареной на настоящем сале. Старик Мусин, съевший за целый день на работе только кусок хлеба, от аппетита лишился чувств и скувырнулся с чурбанчика. Мусины стали настойчиво заглядывать в замочную скважину. Заглядывают и видят, что Сашка, одетый в голубую шелковую пижаму, причесанный и напудренный, с толстой папиросой во рту, спокойно возится себе у спиртовки, жарит, варит королевские блюда. Все это так необычно выглядело, что Мусины даже не поверили, что это идеалист Сашка. Тогда Мусины начали в двери колотить. А Сашка опять:

— Советую вам не терять время. Валите на целину. Меня, голубчики, отсюда не выкурить. Меня в самой Москве из пяти квартир не могли изгнать. Пять комнат в Москве отхватил и продал. И тут то же самое будет. Так и знайте, загоню вашу комнату за десять тысяч, а то и больше. Хотите, можете купить.

Тут уж Мусины перепугались не на шутку, бросились к дворнику, а дворник удивленные глаза делает:

— Извиняюсь, — говорит, — вы сами гражданину Теребейникову жилплощадь добровольно уступили.

Плюнули Мусины дворнику по очереди в бесстыжие глаза, помчались к управдому. Управдом уже, конечно, пьяненький. Получил уже, наверно, от Сашки порядочную подачку. Слушает он их жалобы и только вздыхает:

— Как же, мол, так, дорогие бывшие жильцы этого дома, поскольку я могу свидетельствовать, вы сами вещи Теребейникова таскали, значит, у вас с ним договор о продаже комнаты был. Вы передумали, а я-то при чем? Я вас уже выписал. Вы уже посторонние люди в этом доме.

Видят Мусины, что это целый заговор, и пошли в милицию. Ну, а с кого милиция живет, как не с жуликов? И там Сашка успел уже все обтяпать. Написали милиционеры для

видимости протокол и положили в стол и: зайдите через двери недели . . .

Вернулись Мусины в свой дом. Начали среди ночи соседей будить, просят пособить изгнать оккупанта. Старик Мусин вошел в такой раж, что незаметно для себя повторил знаменитую речь Минина и Пожарского.

Некоторые из соседей реагировали на призыв довольно вяло. Некоторые вообще стали в позу «моя хата с краю». Некоторые даже начали вспоминать старые передразгивания. Вспомнили, что Мусины не всегда подметали общий коридор, за воду не платили и прочее. Начали радоваться, что Мусиным теперь будет плохо. В общем, каждый показал свое лицо с самой настоящей стороны, как это и бывает в беде. И только один отставной военный, прослуживший тридцать лет в химических частях и никогда не применявший химии в войнах, вдруг воодушевился:

— Давайте я его, подлеца, хлор-пикрином выкурю!

Хлор-пикрина у него, конечно, не оказалось, но он все же наскреб у себя какой-то дряни, начал ее у дверей Мусиных на примусе поджаривать. Минут через пять соседи стали ругаться, на кого-то напала рвота, поднялся сплошной чих и многие от газа плакали. А Сашка-оккупант хоть тебе что. Посмотрел химик в замочную скважину и говорит:

— Этого субчика и настоящим хлор-пикрином не выкуришь, у него противогаз. Вот если бы жидким отравляющим веществом, и притом люйзитом, через щель облить!

А Сашка тут из-за дверей:

— Милейший, это не поможет! У меня все учтено, я ко всему готов и могу выдержать любую осаду до трех месяцев и более.

Почесал отставной военный затылок и говорит:

— А что если подорвать дверь и стену толлом? Килограммов десять заложить и трррах!

Соседи, уже порядком пострадавшие от газов, начали пугаться, протестовать, кричать:

— Не хотим взрывов! Давайте лучше высадим дверь поленом! Меньше жертв будет!

А Сашка Терейбеяников хохочет из комнаты:

— И это учтено. У меня дополнительная железная дверь изнутри поставлена. Сдавайтесь и отступайте!

Ну, Аничка, конечно, от безысходного положения в слезы и кричит:

— А я думала, что ты, паразит, последний идеалист, в роде Павки Корчагина!

Старик Мусин рвет на себе волосы и тоже упрекает:

— А еще за всех угнетенных в мире стоял, о колониальных народах беспокоился!

Старуха просто воет:

— Не верила я вам, паразитам, никогда, а теперь жалею, что тебе одному, идейному комсомольцу, партийному, поверила!

— Правильно, — говорит Сашка, — Верно делали, что не верили! И в будущем не верьте всем защитникам колониальных народов, не верьте Павкам Корчагиным, все это для дурачков, а на деле каждый соблюдает свой интерес. Теперь же страдайте за свои заблуждения! Страдайте и валите отсюда, мне спать в моей комнате охота!

После этого все соседи увидели, что хотя Сашка и сукин сын, но он прав, и все разошлись. Мусины, конечно, не разошлись. Им расходиться некуда было. Пристроились на вещах и завели шепотом разговор. Под утро потихоньку докатились уже до того, что думают, действительно, один выход на целину или еще дальше.

И в это время вдруг из квартиры раздается стон. Через минуту еще стон, да такой болезненный. Потом слышат Мусины, заскрипели запоры, взвизгнула сашкина железная дверь и появился он сам на пороге, бледный, еле на ногах стоит.

— Ну, — говорит, — счастье ваше. У меня, кажись, приступ аппендицита. Везите, — говорит, — в больницу, а на этот раз я, кажись, промахнулся из-за состояния здоровья.

В общем, Мусины сейчас живут в своей комнате с чуланом без окон. А Сашка Теребейников уехал из Светлобурска в неизвестном направлении.

Так что вы, товарищи, если где-нибудь встретите его, может быть под другим именем, но в той же роли последнего комсомольца-идеалиста, этакого Павки Корчагина, так будьте с ним поосторожнее. Остерегайтесь его! Тем более остерегайтесь, что у него теперь нет аппендицита. Вырезали на-чисто. И теперь, если он залезет в квартиру, спасения не будет.

Провокация

С иностранцами, — черт бы их побрал! — надо быть осторожным. Все иностранцы, приезжающие в СССР, если не шпионы, то провокаторы или, в лучшем случае, диверсанты. Приедет в СССР некий в роде бы туриста, купит каракулевую шапку, делает вид, что хочет всю советскую жизнь изучить, все постигнуть, толчется все время то на Красной площади, то в Большом театре, то осматривает новый университет, и вид у него такой невинный, а на самом деле он, когда спит, и то думает, как бы подкузмить честного советского человека. Все его мечты и помыслы сконцентрированы только на том, как бы напакостить советскому человеку и тем оправдать собой свои дорожные расходы. Ужасно коварный народ эти иностранцы!

Конечно, если быть предельно бдительным, если не пропускать легкомысленно все предупреждения о бдительности мимо ушей, если на каждого иностранца смотреть прищурясь и постоянно ожидать от него всяких подлых штучек, то, как говорится, — бдительного и Бог бережет. Тут уже ничего не может случиться. Разве что своего же советского гражданина примешь за иностранца, рванешь у него из рук фотоаппарат, когда он будет фотографировать собственную жену или невесту, а он тебе за это даст в морду. Он даст — и, может быть, еще скажет: «Пошел к черту, сукин сын!» Может быть, и не один раз даст и еще не то скажет, завернет что-нибудь этакое, что на целой странице только в одних точках можно напечатать, но все это ничего, все это терпимо. Гораздо хуже, если потерять бдительность и принять иностранца за советского гражданина.

Может быть, конечно, некоторые благодушно настроенные граждане посмеются над таким утверждением. Скажут: «Эко загнул!» Подумают: «Кто же это согласится, чтобы ему по фотографии смазали и обругали, лишь бы ему показать свою бдительность, лишь бы не пропустить мимо нетронутым иностранца?»

Люди неопытные, не имевшие дела с иностранцами, могут впасть в ошибку и так подумать. Что же касается людей опытных, встречавших часто иностранцев, то такие согласятся скорее ошибиться и получить за это, разумеется, не розочку на понюшку от советского гражданина, чем пропустить незамеченным иностранца.

Взять, например, Усьшкина, Егора Егоровича. Он сейчас готов подозревать собственную жену, что она является переодетой иностранкой. Он готов ее остерегаться, готов врать ей о своей любви к власти, о материальном изобилии, о свободе и прочем, прочем, лишь бы случайно не ошибиться, не сказать всю правду какому-нибудь иностранцу во образе его жены.

Правда, Егор Егорович Усьшкин стал только теперь настолько бдительным, а раньше, хотя он и занимал должность, где бдительность должна быть в каждом взгляде и вздохе, но тогда он как-то в роде бы потерял нюх. Тогда как будто бы обросло все внутри у него жиром, перестало дрожать при одном виде иностранца.

Отчего все это притупление лучших человеческих чувств и качеств получилось, неизвестно. И специальную школу Егор Егорович проходил, где его ежедневно учили, пугали, предупреждали. И после школы, уже в ресторане, каждый день метр-д'отель, полковник госбезопасности Иван Потапович, инструктировал на кухне всех, включая и судомоек, как действовать и что в каком случае делать надлежит. И даже когда Егор Егорович принимал от посетителей заказы, разносил по столикам блюда и графины, и тут метр-д'отель Иван Потапович неусыпно смотрел за ним, делал ему глазами разные знаки, кашлял в кулак, чесал за ухом — в общем, дирижировал. И вот, поди ж ты, прозевал Егор Егорович!

Прозевал и дал возможность крупному иностранному негодяю устроить провокацию! Да еще какую провокацию! —

масса честных советских граждан пострадала, в том числе и сам Егор Егорович Усышкин пострадал.

А произошла эта подлая иностранная провокация следующим образом.

В Кремле как раз происходил исторический 20-й съезд партии. Ну, там речи разные были, цифры разные небывалых достижений докладывали, говорили о бурном росте благосостояния советских граждан и прочее. Сам Егор Егорович не имел возможности все эти речи слушать, посетителей в ресторане было не протолпись и, естественно, он не знал, насколько теперь замечательная жизнь и как всего в стране вдоволь. Он не знал за всю страну, за какой-нибудь захолустный город Советосольск, бывший Безсольск, он знал только о делах своего лучшего в столице ресторана. А в этом лучшем в столице ресторане, надо сказать, как раз во время исторического 20-го съезда, в кладовой мыши начали с голодудохнуть. Продуктов, ну, никаких. Водки и вин, хоть завались, но мыши их не пьют идохнут.

Конечно, такое положение продолжалось недолго. Директор ресторана чего-то где-то выпросил, посылал кого-то в деревню за картошкой, за капустой, и из положения кое-как выжили. Шеф-повар наварганил борщ, а остальное меню в сто двадцать блюд просто вычеркнул и поперек его написал: «Я специалист по кулинарии, а не по магии!»

Ну тут, конечно, метр-д'отель, полковник Иван Потапович, начал наскокивать на директора ресторана, начал ему кулаком перед носом вертеть. «Я, — говорит, — отвечаю за обман иностранцев, я не могу позволить, чтобы в меню один только борщ был!

Директор ресторана ему в ответ:

— Вы что думаете, что я из себя свиную отбивную прикажу делать? Нет продуктов — и дело с концом! В крайнем случае мы можем подавать борщ пожиже и погуще, можем выловить из него капусту и картошку, и так блюд пять сварганим.

Плюнул с досады метр-д'отель Иван Потапович, сел на свою машину, съездил в органы госбезопасности и приволок из каких-то секретных запасов свиную тушу и двадцать килограммов паюсной икры. Шеф-повар пораскинул мозгами

над свиной тушей, да и приготовил из нее блюд пятнадцать, включая телячьи биточки, жареное баранье седло и даже фаршированную щуку из свинины сделал, специально для тех, кто ест только кошерное.

Разумеется, все эти блюда и паюсную икру метр-д'отель Иван Потапович приказал отпускать исключительно иностранцам. Приказал и пригрозил кулаком: мол, душу вытрясу, если за взятку да кому-нибудь из советских посетителей! Меню, конечно, со всем сто двадцать одним блюдом, в кожаном переплете, с тисненными золотом буквами, как и всегда, надлежало держать на каждом столике, чтобы изобилие и великолепие каждому в нос било.

Что же касается советских граждан, то Иван Потапович приказал официантам, в том числе и Егору Егоровичу, уговаривать их не делать шум и добровольно, с радостными улыбками заказывать один борщ с водкой. А если же попадется некий очень ретивый гражданин, начнет нагло требовать, скажем, антрекоты и не будет подчиняться официантам, то таких надлежало вежливо отзывать в заднюю комнату, где метр-д'отель-полковник уже сам давал бы им антрекоты. Он мог не то что простого советского гражданина, но и генерала, и министра за морду взять и на место поставить. Такая ему была дана свыше власть.

В общем, все было в порядке, теоретически ничего не могло произойти. Но все же произошло. И произошло потому, что Егор Егорович на мгновение лишился чувства бдительности.

Мотался он, мотался между столиками, разносил иностранцам шикарные блюда. Принимал заказы, вежливо склонив голову. Шепотом рычал на советских посетителей. И так ему все примелькалось, такой у него был растерянный вид, что коварный враг смог сразу же все оценить и всем воспользоваться.

Подошел Егор Егорович к одному столику с четырьмя новыми посетителями. Смотрит, ну, конечно, все свои. Костюмы у всех серые, одинаковые, галстуки красные в желтую полосочку. У одного Золотая Звезда Героя Социалистического Труда в лацкане пиджака болтается, а сам по виду

провинциальный партийный работник, может, секретарь обкома или горкома: морда толстая и ничего, кроме довольства, не выражающая.

— Чего угодно? — для проформы спросил Егор Егорович.

Толстая морда, как старший за столом, в меню глаза пялит, причмокивает губами.

— Мда, товарищ официант, — начал он, смакуя каждое слово, как куриную косточку, — вы уж дайте нам большой графинчик водочки. Потом на закусочку маринованных грибов, паюсной икорки с зеленым лучком. Тут у вас большое блюдо записано в меню, так вы его и дайте. Потом, на первое, московскую солянку. Так... что же дальше...

Егор Егорович молчит, стоит, отдыхает себе и с ехидством ожидает, насколько же далеко зайдет человеческая фантазия.

— Мда!.. Так значит, на второе, — продолжает блаженствовать и смаковать толстомордый, — дайте нам жареного гуся с гречневой кашей. Эх, товарищи, вы помните, у нас в области в колхозе «Красный птицевод» был гусь!

Один из сидящих за столом что-то одобрительно промычал. Остальные двое сидели молча.

— Да, был хороший гусь! — продолжал толстомордый. — Вообще же, товарищи, возвратившись со съезда, нам надо было бы подумать о мерах развития гусеводства...

— Что на третье? — нетерпеливо спросил Егор Егорович. — Планы на гусеводство можете без меня делать. Да и толку-то что в них? Вот через таких, как вы, у нас в кладовке ничего нет!

— Как так нет? — удивился толстомордый и помахал меню, как доказательством. — У всех бы столько блюд было, как у нас. Тут, в Москве, можно покушать всласть. Так вот, значит, на первое второе гуся с гречневой кашей, а на второе баранье седло.

— Третье второе тоже будет? — язвительно спросил Егор Егорович.

— Обязательно будет!.. Значит, после второго второго дайте нам осетрины с хреном.

— Может быть севрюги? Севрюга дороже, но вкуснее.

— Давайте севрюги, раз вкуснее, — одобрил толстомордый. — Кто говорит о деньгах? У нас в СССР денег у всех куры не клюют... Так, так. Потом, значит, можно перейти к пельменям. По-советски после севрюги всегда пельмени надо кушать... Товарищ официант, а почему вы не записываете заказа?

— Профессиональная память, — с полупоклоном, как иностранцу, ответил Егор Егорович.

— Это хорошо! — похвалил толстомордый. — Сразу видно, наш советский официант. За границей не то. Там нет хороших специалистов. Вот был я пару месяцев тому назад в Швеции. Так там официанты записывают в блокнот. Скажешь «суп», запишут «суп». Между прочим, борща в Швеции нет. Куда им!...

— А как у них меню? — заинтересовался Егор Егорович.

— Меню ничего. Сколько у них кушаньев, я не считал. Но у вас меню солиднее, золотые буквы и все другое. У нас в СССР все лучше. Так и должно быть. Так вот, дайте нам после пельменей блины с грибами. Ну, конечно, еще один графин водочки к этому времени... Большой графин!.. Товарищи, а может быть вместо блинов с грибами кулебяки скушаем?.. Кулебяка, э-э-э-э-э...

Толстомордый еще долго разжигал свой аппетит, выбирал все новые и новые блюда, причмокивал губами, лицо его покрылось испариной и стало походить на намазанный маслом блин. Егор же Егорович стоял во внимательной позе, перекинув через руку салфетку, и ожидал, когда, наконец, он сможет удивить.

Почему ему вдруг захотелось насмеяться над этими четырьмя, Егор Егорович не знает и поныне. Может быть, в его нежную официантскую душу закралось подозрение, что эти четыре провинциальных туза у себя дома в ресторанах пользуясь своей властью, никогда не давали официантам на чай, и Егор Егоровича охватила жажда мести за поруганные лучшие чувства своих коллег. Может быть, этот толстомордый Герой Социалистического Труда своим сытым и самодовольным видом напоминал Егору Егоровичу о главных при-

чинах продовольственных затруднений. Может быть, Егор Егорович стал жертвой гипнотического воздействия какого-нибудь иностранного шпиона, или этот самый иностранный диверсант пробрался на четвереньках на кухню и подсыпал Егору Егоровичу в борщ некий специальный порошок. Все может быть. Но, не вдаваясь в тонкости человеческой психологии или в особенности коварных методов иностранных разведок, а касаясь только фактов, надо сказать, что Егор Егоровича буквально охватил как бы экстаз непревзойденного лакейского хамства. И когда толстомордый, наконец, закрыл меню, Егор Егорович, подобострастно улыбаясь, склонил перед ним голову и сказал:

— А как насчет борща?

— Борща? — переспросил в тяжелом раздумии толстомордый. — Нет, на этот раз обойдется без борща.

— Никак не обойдется, — заюлил Егор Егорович с профессиональной лакейской преданностью. — Без борща никак невозможно. Это не Швеция, где нет борща. Не Нью Йорк — Америка. Это Москва.

— Ладно, давайте борщ, — толстомордый даже взгрустнул, видимо, думая о том, куда это только все влезет.

— Значит, борщик желаете? Водочку тоже желаете? .. Борщ и водку, а остальное вы уж не хотите?

— Нет, давайте все по списку.

— Дорогой товарищ! — просто запел Егор Егорович. — Опять говорю вам, что это не Швеция, где нет борща. Это не Нью-Йорк-Америка, где тоже нет борща. Это СССР, Москва, где есть только борщ. Только борщ и более ничего!

Толстомордый замычал:

— Э-э-э-э... — и, раскрыв меню, тупо уставился в него.

— Дорогой товарищ! — продолжал петь Егор Егорович. — Вы может быть еще не только в меню посмотрите? Может вы газету хотите прочесть? .. Надо все же понимать, что у нас одно пишется, а другое в действительности. Пишется сто двадцать одно блюдо, а есть один борщ. Борщ и больше ничего. Это не Швеция и не Нью-Йорк-Америка! ..

Тут, конечно, толстомордый начал хамить, показывать на столы, за которыми сидели иностранцы, начал требовать того же. Двое других, сидевших за этим столом, стали тоже

выражать возмущение, стали поддерживать требования толстомордого. И только один, четвертый гражданин, вдруг развеселился, начал тихонько хихикать и одобрительно по-сматривать на Егора Егоровича.

Чувствуя такую поддержку, Егор Егорович еще более вошел в раж, начал отвечать грубостью на хамство. А потом, когда скандал начал принимать черезчур громкие размеры, Егор Егорович попросил всех пройти в заднюю комнату и моргнул метр-д'отелю-полковнику. А в задней комнате, он сразу же доложил Ивану Потаповичу, мол, эти трое привыкли ездить по заграницам, привыкли заказывать там по двадцать блюд и поэтому, мол, теперь их не удовлетворяют наши достижения, не хотят борща.

— Что же это вы, товарищи? — начал отчитывать их Иван Потапович. — Что же это вы не понимаете, что это не заграница, что у нас все есть только на бумаге? Иностранцам мы, конечно, должны все давать, им надо очки втирать, а вы должны сознательность иметь! Если вы будете и дальше отказываться от борща, так подхвачу я вас всех четырех и повезу, куда следует! . . .

Справедливости ради, Егор Егорович, конечно, указал метр-д'отелю-полковнику, что один из четверки вел себя прилично.

— Вот, — сказал Егор Егорович. — Этот товарищ, наверное, по заграницам не ездил, он и борщу рад!

И вдруг этот четвертый, такой тихоня, так приятно улыбающийся Егору Егоровичу, захохотал и говорит:

— Я всю свою жизнь по заграницам прожил. И вообще я американский дипломат и аккредитован при посольстве Соединенных Штатов в Москве.

Что было дальше, Егор Егорович не знает: он лишился чувств. Пришел он в себя на второй день в камере-одиночке.

Правда, Егор Егоровича Усьшкина через пару дней признали невиновным и выпустили через два года. Помог ему выпутаться, главным образом, полковник Иван Потапович, который сам тоже поддался на провокацию ловкого и коварного американского шпиона и диверсанта.

А коварная провокация стала возможной больше всего вследствие попустительства толстомордого Героя Социали-

стического Труда. На первом же допросе он признался, что американец ему представился и сказал, что он не может найти свободного места, что толстомордый сам пригласил американца за свой стол и хотел показать ему, как обыкновенно едят в СССР. Ну, а потом он так увлекся процессом подбора блюд, что образ воображаемой мысленно кулебяки затмил образ сидящего рядом шпиона, диверсанта и провокатора.

Как бы там ни было, но, приняв иностранца за советского гражданина, Егор Егорович Усьшкин пострадал, лишился прав на работу в ресторане «Интурист» и теперь, моя посуда на провонявшей кухне заводской столовки, часто проливает горькие слезы. И если вы думаете, что нет таких граждан, которые бы согласились, рискуя ошибиться и получить оплеуху, хватать за руку всех, кто мало-мальски похож на иностранца, то спросите Егора Егоровича.

Quo vadis?

После выпускного бала, затянувшегося почти до утра, бывшие ученики, всем бывшим 10 «А» классом, пошли провожать Николая Артемьевича Косогорова, своего бывшего классного руководителя. Для бывших учеников в этот день окончилось все бывшее.

— Друзья! — говорил прочувственно Николай Артемьевич, обнимая огромный букет и шагая, окруженный со всех сторон нарядно одетыми юношами и девушками, в традиционных белых платьях. — Друзья! Ваше будущее прекрасно, как этот начинающийся день! Теперь перед вами жизнь открыла широкие двери. Идите, дерзайте! Служите красоте, добру, справедливости!..

Николай Артемьевич почувствовал, как увлажнились его глаза. А вокруг были воодушевленные юные существа. Предраассветный воздух улиц был чист и свеж, как лица юношей и девушек. В палисадниках, скверах звонко и весело трелили пробудившиеся птицы. Все было прекрасно.

Правда, недалеко от дома Косогорова компанию обогнал громыхающий грузовик, доверху нагруженный мусором, и сразу же их обдало запахом гнили. Но компания завернула за угол и вскоре остановилась у дома Косогорова.

Когда настало время распрощаться с бывшими учениками, Николай Артемьевич Косогоров, пожимая всем по очереди руки, заглядывая в глаза, раздаривая напутственные слова, невольно подумал: «Какие они все дивные, пленительно юные... а я вот уже почти старик...»

И сделалось ему немножко горько и обидно. Но потом он

тряхнул седой головой: «Был и я таким, как они! Да, был! Еще каким молодцом был!

Продолжая мысленно себя успокаивать, Николай Артемьевич заметил, что, например, у Вадима Маслова и грудь куриная, и в восемнадцать лет он уже носит очки с толстыми стеклами. «А вот я в его годы!..» Или вот еще Конев, парень — богатырь, спортсмен! Но если припомнить, какой силач когда-то учился в одном классе с Николаем Артемьевичем, то сравнение будет не в пользу Конева. Да как же этого силача была фамилия? Горшков?.. Порошков?.. Что-то вроде этого...

И захотелось Николаю Артемьевичу показать своим бывшим ученикам, что и он был тоже молод, что и он был румяный, мускулистый.

— Друзья! — сказал Николай Артемьевич. — Хотите посмотреть, каким я выглядел в день, который я помню также, как и вы будете помнить этот сегодняшний день? У меня есть фотография моего класса. Вернее, как тогда называлось, — группы, снятая в день окончания школы-семилетки. Тогда еще не было десятилеток. Это было... — он подсчитал в уме: «Родился в 1911, окончил школу в четырнадцать лет...» — Это было, друзья, в 1925 году. Подумать только, в двадцать пятом!

— Пожалуйста, — восторженно понеслось со всех сторон. — Пожалуйста!.. Очень интересно!..

Николай Артемьевич вошел в дом, вприпрыжку побежал по затхлой, пахнувшей котами лестнице на третий этаж и, задыхаясь от усталости, с колотящимся сердцем, но довольный своей прытью, отпер дверь квартиры. Но едва он вошел в темный коридор, соседка агрономша, особа желчная и страдающая бессонницей, подчеркнуто громко застонала:

— Боже мой, когда этот проходной двор окончится? Ни днем, ни ночью!..

Косогоров благоразумно промолчал и, прижимая к груди букет, потихоньку, на цыпочках пошел к своей комнате. Но тут ему не повезло. Кто-то из жильцов, наверно, Шорины, выставили на ночь в коридор железное корыто. Николай Артемьевич в темноте споткнулся о проклятое корыто и чуть было не свалился в него, но, уронив букет, все же успел во время вытянуть вперед обе руки, и они сразу же по-

грузились в намоченное белье. Так он и застыл в позе стиральщика, с ужасом ожидая реакции на произведенный грохот.

— Изверги! — взвыла агрономша. — Я в суд подам!

— Какой там черт шляется по ночам? — загудел из другого угла бас инженера Садовского.

— И чего вы там чертыхаетесь? — воинственно выкрикнула агрономша.

— Психичка! — лаконично ответил Садовский.

— Товарищи, совесть надо же иметь! — начал увещевать Шорин.

— Вы ответите за психичку!.. Я женщина больная!..

Николай Артемьевич Косогоров выудил из корыта пахнущий хлором букет и, вобрав голову в плечи, осторожно добрался до своей комнаты, тихо притворил за собой дверь и, прислушиваясь к разгорающейся словесной перепалке, с облегчением вздохнул.

Но как только он включил свет, жена его, Катерина Семеновна, лежащая на кровати, заслонив рукой глаза, страдальчески вздохнула:

— Послушай, Николай, ты что, пьян? Мало того, что в коридоре загремел, всех соседей разбуркал, так тебе еще и свет надо? Не можешь раздеться так?

— Котинька, мне надо кое-что найти, я же не могу без света.

— Что тебе, дня мало? Сейчас приспичило искать?

Николай Артемьевич попробовал спокойно и убедительно объяснить, что его внизу ожидают бывшие ученики, что он хочет им показать старую фотографию, но Катерина Семеновна перебила его:

— Глупости, Коля! Кому это интересно смотреть старые фотографии? К тому же они, наверное, уже разошлись.

— Котинька, я обещал...

— Боже мой, ты, наверное, пьян! Ты что, опять хочешь итти через коридор, будить всех? Тебе мало одного скандала?.. Никуда я тебя не пущу!

— А я тебя и спрашивать не буду! — отрезал Косогоров.

— Мама, ты слышишь? — плаксиво заныла Катерина Семеновна, обращаясь к ширме, за которой спала ее мать.

— Хамло! — мгновенно и охотно отозвалась теща. — Был хамом и остался хамом!.. Прокрался в нашу семью, как тать в ночи, а теперь из всех воду варит. Я моей дочери, этой ангельской душе, посвятила сорок четыре года моей жизни, и вот теперь я вижу...

— О, небо! — Николай Артемьевич зажал уши и несколько раз, не особенно больно, стукнулся головой о стену.

Потом, не обращая внимания на ругательства и причитания, он решительно ринулся к комоду, воткнул в вазу испоганенный букет, достал из нижнего ящика альбом со старыми фотографиями и, хлопнув дверью, опять споткнувшись в темном коридоре о корыто, поспешно выскочил на лестницу. В квартире, как в потревоженном осином гнезде, стояли шум и брань. Николай Артемьевич досадно лягнул каблуком дверь и побежал вниз по лестнице. В вестибюле, тускло освещенном запыленной лампочкой, он поправил галстук, одернул пиджак, привел себя в порядок, как актер перед выходом на сцену, и, лучезарно улыбаясь, шагнул из неуютного запустения на улицу.

Была как раз та пора, когда день приходил на смену ночи. Когда свет, наплывая волной с востока, захватывал небо, прижимая темноту к земле. Вверху уже было утро — окрашенные свежей синевой, обрызганные легким багрянцем облака застыли на месте, словно скованные тяжелой и сладкой последней дремой; внизу, у самой земли, серая и влажноватая мгла призрачно дрожала, убиваемая светом, растворялась, умирала без следа и умирала быстро, ощутимо.

Молодежь, сгрудившись, о чем-то оживленно разговаривала. Слышался смех. В стороне, в нише подворотни, стояли обнявшись и застыв в продолжительном поцелуе, Конев с Верочкой Тинской, не особенно преуспевавшей в науках, но самой красивой ученицей в классе. Николай Артемьевич смущенно кашлянул и поспешил отвернуться.

— Мои юные прекрасные друзья! — Николай Артемьевич произнес коротенькую торжественную речь, в которой опять напомнил о широко открытых дверях, о замечательном будущем, сделал упор на то, что «только в нашей стране, в стране победившего социализма...» и окончил немного сен-

тиментальным «когда я, возможно, уже не буду жить на свете, лет этак через тридцать, быть может и вы, тогда уже убеленные сединами, покажете молодежи, как я вам сейчас покажу, свою выпускную фотографию . . .»

Дальше он не мог говорить, горький комок подкатил ему к горлу, и он, нагнув голову, начал листать страницы альбома.

Бывшие ученики сразу же узнали его на общей фотографии. Высокий, стройный, с открытым лицом, он стоял в центре выстроившихся в две шеренги полумесяцем группы и держал красное знамя.

— Вот вы какой были! — наивно удивилась Жанна Бочарова, скромная девушка с большими и задумчивыми глазами.

— Да был, когда-то! — Косогоров слегка выпятил грудь и также, как и на фотографии, гордо приподнял голову.

— А почему с красным знаменем? — спросила Жанна Бочарова.

Николай Артемьевич улыбнулся:

— Наша группа была первой во всем городе, состоящая на сто процентов из пионеров. Двадцать три ученика и двадцать три пионера. Я, между прочим, был звеньевым. Теперь это обыденное явление — младшие классы сплошные пионеры, старшие — сплошные комсомольцы. А тогда это было ново, необычно. За это нам и преподнесли красное знамя.

— Скажите, Николай Артемьевич, а вы часто встречаетесь с ними? — Вадим Маслов показал на групповую фотографию. — Вот мы всем классом приняли решение каждый год встречаться, до конца жизни встречаться, рассказывать друг другу о делах, успехах. Это очень интересно будет!

Более чем за четверть века педагогической деятельности Косогоров не помнил ни одного выпускного класса, который бы не договаривался о ежегодных встречах «до конца жизни». Но за все это время, кажется, два или три класса встретились на следующий год, да и то половинным составом. Еще через год и эти не встречались. Однако, разочаровывать молодых людей было неудобно. Особенно сейчас. И он сказал:

— Это замечательно! К сожалению, мы в свое время до этого не додумались.

И тут заговорили все наперебой. Все загорелись идеей устроить встречу соучеников Косогорова. Николай Артемьевич против этого не возражал. Ему даже понравилась идея встречи через тридцать три года, да и фамилии соучеников были записаны на обороте фотографии. Так что разыскать их было не особенно трудно.

В общем, когда из окон стали высовываться заspanные лица жильцов, разбуженных поднятым на улице шумом, когда после просьб послышались угрозы и ругань, компания разошлась, но первый камень для устройства встречи был заложен. Чтобы все было интереснее, все бывшие соученики и пионеры звена Косогорова должны были увидеть друг друга только на самой встрече.

Шли дни, недели, и вот как-то под вечер к Косогорову пришел Вадим Маслов, назначенный «уполномоченным по розыскам», и сообщил, что встреча состоится на следующий день.

— Кто же будет из моих пионеров? — полушутливым тоном спросил Николай Артемьевич.

Вадим поправил сползавшие тяжелые очки и пожал плечами:

— Завтра увидите. Итак, в пять вечера, в парке Культуры, около фонтана.

Точно в назначенное время Николай Артемьевич Косогоров подошел к фонтану. Он был несколько взволнован и зябко потирал руки.

— Ну-с? проговорил он, пытливо вглядываясь в лица своих бывших учеников. — Где же вы прячете их от меня?

И в это время за его спиной раздался хрипловатый и наглый женский голос:

— Товарищ звеньевой! Пионерка Шура Виноградова явилась на сборы!

Косогоров вздрогнул от неожиданности и, повернувшись, увидел толстую приземистую женщину в вызывающе ярко-красном платье. Лицо ее, с маленькими, залпывшими жиром глазами, было помято, потрепано и сильно накрашено. Рыжие волосы взбиты козлой. Она по-пионерски салютовала, приложив руку запястьем наискосок ко лбу, и, стараясь стоять «смирно», выпячивала живот.

«Это Шурочка?» — подумал, неприятно пораженный, Косогоров. И он невольно припомнил малорослую, щупленькую и очень тихую девушку. — «Кажется, она была тогда брюнетка?..»

— Колька, мерзавец, целуй в щеку, у меня губы намазаны! — громко и хрипловато выкрикнула Виноградова и, бесцеремонно взяв Николая Артемьевича за уши, обеими руками потянула на себя.

Он машинально чмокнул в дряблую, пахнущую пудрой щеку и поспешил освободиться. Ему было стыдно, и он старался не смотреть на своих бывших учеников.

— Ну, чего Колька, хвост повесил? Держи хвост морковкой! — Виноградова, шутя, шлепнула его по щеке. — Старый ты, Колька, стал. Да и я не помолодела. Ну, ничего, как говорится, старый конь борозды не портит, хотя глубоко и не пашет.

Она заливчато захохотала, откинувшись всем корпусом назад, ее пышные тела колыхались. Косогоров смотрел постным взглядом в сторону. И тут он увидел, что к нему подходит Аня Морщанцева. Ее нельзя было не узнать. Она, как была, так и осталась высокой и слегка полноватой, только каштановые волосы были сильно усыпаны сединой, в когда-то ясно-карих глазах как будто бы немного поубавилось блеска, да вокруг глаз и рта собрались морщины. На руках она держала малыша лет двух.

Николай Артемьевич шагнул ей навстречу и она улыбнулась ему тихо и радостно.

— Ну вот, наконец-то...

— Анька, узнаешь? — сразу же опередила Косогорова рыжая Виноградова и повисла у нее на шее. Потом она пошлепала малыша по налитым коленцам: — Твое творение?

— Что ты! В мои-то годы? Это внук, сын моей средней дочери.

— А я вот больше не по детям, а по мужьям специалистка, — Виноградова подморгнула Николаю Артемьевичу, игриво толкнула его локтем и тут-же, спохватившись, стала по команде «смирно» и, отсалютовав, гаркнула: — Товарищ звеньевой! Почему пионерка Аня Морщанцева не докладывает по форме?

Кто-то за спиной Косогорова довольно внятно проговорил: «Дура!», и он почувствовал такой стыд, что готов был провалиться сквозь землю.

Когда подошел еще один бывший соученик — худой, высокий, с удлинненным, словно приплюснутым носом, с мокрыми губами и прищуренными мутноватыми глазками, — Косогоров с трудом узнал его — это был Геннадий Свечкин. Ответственный за организацию встречи Вадим Маслов сообщил, что больше никого не будет.

— Неужели больше никого? — растерянно спросил Косогоров.

Вадим Маслов достал список, переписанный с оборота групповой фотографии, и передал его Косогорову. В списке перед фамилиями стояло одиннадцать пометок «умер», «убит», восемь пометок «судьба неизвестна» и только четыре пометки «есть». Четыре из двадцати трех, включая самого Косогорова.

— Знаешь что, Коля, — задумчиво почесывая нос, проговорил Геннадий Свечкин. — Выпить бы надо было по этому случаю.

— Товарищ звеньевой, я голосую «за»! — шумно поддержала Виноградова.

Николай Артемьевич посмотрел на хмурые лица своих бывших учеников, на ужас, застывший в больших и влажных глазах Жанны Бочаровой, на полубрезгливую улыбку красавицы Верочки Тинской, и понял, что надо или сразу все кончить, или что-то предпринять. И в этот же момент его осенила идея.

— Товарищи, — сказал он твердо. — А сейчас мы пойдем на склон к реке, сядем на травку и вы услышите от нас, старшего поколения, как мы сейчас живем и чего мы достигли за тридцать три года.

Когда они пришли на склон у реки, рыжая Виноградова, выкрикнула: «Товарищ звеньевой!», но Косогоров не дал ей закончить:

— Садись! — скомандовал он. — Все, друзья, рассаживайтесь! — добавил он мягче.

Геннадий Свечкин потоптался на месте, а потом сказал:

— Знаешь, Коля, друг, мне на сырой земле сидеть невозможно, у меня геморрой.

— Ну, в таком случае, стой, — спокойно сказал Косогоров.

— А может быть я пока схожу за бутылочками? — лицо Свечкина расплылось в хитроватую улыбку. — Товарищи, скинемся по несколько рублей? Не выпить по такому случаю, — это будет преступление.

— Потом, Геня, потом, — перебил Косогоров и, заторопившись, начал что-то вроде речи.

И как во всякой речи, Николай Артемьевич начал бросать давно заученные, ставшие почти шаблонными, фразы: «Только благодаря родимой советской власти!..» «В то время, когда в других странах происходит разложение!..» «Наше здоровое прогрессивное общество!..» «Широкие двери!..» «Перед вами величественные перспективы!..» и прочее, прочее.

Речь получилась бодряческая, но никто этого не заметил, потому что все привыкли именно к таким речам. О себе он говорил не много: «Вы знаете, что я педагог, и я горд моей благородной профессией!»

Потом слово было предоставлено Анне Морщанцевой. Она не стала произносить речь, а говорила тихо, спокойно:

— Вот, молодые люди, перед вами жизнь. Ну что я могу о себе рассказать такого, чтобы вам пошло на пользу? Я родила и воспитала троих детей, у меня два замечательных внука, и поэтому я счастлива. Знаете, девочки, — она мягко улыбалась. — Для вас будущее — материнство, а все остальное, это проходящее.

— А я хочу быть инженером, — задумчиво сказала Жанна Бочарова.

— У меня, миленькая, тоже диплом дома лежит, но он мне не надолго пригодился, ничего он в моей жизни не переменял.

В это время внук Морщанцевой заныл, стал проситься на землю, засучил ножками, и ей стало трудно продолжать беседу. Тогда выступил Геннадий Свечкин:

— Вот что, братцы, — заговорил он, собрав складки на лбу и почему-то немного раздраженно. — Я, по-правде сказать, живу неплохо. Работаю шофером на трехтонке, кое-как кручусь. Где подкальмлю сотню, где отхвачу другую, и больше мне ничего не надо. Люблю я, правда, немного за-

лить за воротник, но кто этого не любит? Такая у нас жизнь! И в общем, распространяться долго я не намерен, и лучше бы нам закруглиться и перейти к художественной части, — он щелкнул себя под скулу и подмигнул.

— А я, между прочим, девочки, специально для вас скажу, — неожиданно, без всякого приглашения заговорила Виноградова и поправила свою рыжую копну, — самое главное — это следить за собой. Будете красивые, будете хорошо одеты, и не пропадете. Для мужчин — другое дело, а для нас, женщин, главное — красота. Надо уметь завлечь, надо знать, когда потребовать свое, законное. Вот у меня было пять мужей, среди них один генерал...

Николай Артемьевич Косогоров смотрел, покусывая губы, на тот берег реки, на далекие синие пятна лесов и роц, на горизонт, подернутый голубоватой дымкой. Он уже больше ничего не слышал и только думал о том, что, возможно, через три десятка лет его бывшие ученики, и тщедушный, но деловой, Вадим Маслов, и здоровяк Конев, и задумчивая, наивная Жанна Бочарова, и уж, конечно, красавица Верочка Тинская, — все они, может быть, станут вот такими, как Виноградова, или как пьянчужка Свечкин, или, в лучшем случае как Анна Морщанцева, или такими несчастливцами, как он сам. Всех их перемелет жизнь, необходимость, думая одно, говорить другое, склока коммунальных квартир, погоня за куском хлеба, неприглядный и беспросветный быт. Как можно сохранить то золотое, что было сейчас в сердцах и умах этой молодежи? Косогоров мучительно старался найти ответ и не мог. А они, свежие, прелестные юноши и девушки, сидели пришибленные увиденным и услышанным, и было в их лицах, позах что-то протестующее, испуганное. Для них началась взрослая жизнь, и никто не мог знать, куда и кого она заведет.